Писатель и время



Владимир Солоухин

ЛУГОВАЯ ГВОЗДИЧКА

«Советская Россия»

Писатель и время

Владимир Солоухин

ЛУГОВАЯ ГВОЗДИЧКА

МОСКВА
«Советская Россия»
1989

Р2
С60

В эту книгу известного советского писателя вошли произведения, написанные им в последнее время. Как это всегда у Солоухина, начиная еще с «Владимирских проселков» и «Капли росы», в написанном сочетаются документальность, публицистичность и лиризм. Разные по своей «географии», эти очерки объединяются единым стремлением к правде, любовью к родной земле и горечью за ее неблагополучие.

С $\frac{4702010204-128}{М-105(03)89}$ КБ 53-66-88

ISBN 5-268-01119-7

Сосьвинские мотивы

1

Иван Шесталов значится в литературе как Юван Шесталов (к тому же с ударением на букве «ю»), хоть в писательских справочниках помечено в скобках и уточнено, что все же он — Иван Николаевич. Ну, что же, будь он рабочим на каких-нибудь тюменских нефтепромыслах или, того более, учителем в школе, каковым он является по своему образованию, то, конечно, так и зваться бы ему Иваном Николаевичем. Но он (учитель по образованию) сделался известным писателем и поэтом народа манси, а вернее сказать, просто хорошим писателем и поэтом (как мы не всегда нажимаем на то, что Чингиз Айтматов киргизский писатель, а Расул Гамзатов аварский поэт). Ну и вот, как писателю и поэту, основоположнику родной письменной литературы (фольклор, эпос издревле существовали у манси), как выразителю души своего племени, как «связному» между этой душой и всеми другими народами и племенами, захотелось Шесталову называться на свой национальный, мансийский манер — Юван. Так мы его теперь все и зовем.

Однако, уточним сначала, что такое ма́нси. Современный однотомный энциклопедический словарь сообщает, что манси — прежнее название вогул — народность в Ханты-Мансийском автономном округе... 6700 человек. А всего их в СССР 7700 человек. Данные за 1970 год. Язык мансийский. Письменность на основе русского алфавита.

В 26-м томе БСЭ (у меня под рукой издание 1954 года) имеем более подробные сведения, почти на страницу книжного текста. «Манси (самоназвание маньси, моаньсь, меньдьси — в прошлом — вогулы, в старинных русских источниках — юрга, гогуличи, вогуличи, логул) — народность, населяющая преимущественно зап. районы Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области... Численность М. 6300 (на 1927 год). Мансийский язык относится к угорской группе финно-угорских языков. В антропологическом отношении М. принадлежат к уральскому типу, являющемуся переходным между европеоидной и монголоидной расами... Первое знакомство русских (новгородцев) с М. относится к концу 2 в. В 15 в. земли М. номинально были присоединены к Руси. После похода Ермака М. вместе с хантами окончательно вошли в состав Русского государства.

Ко времени знакомства М. с русскими они жили родоплеменным строем, сохранявшим значительные пережитки матриархата... Религиозные верования базировались на очень архаично-тотемических представлениях: каждый род вел свое происхождение от зооморфного предка, в честь которого периодически устраивались празднества с обрядовыми танцами. Наряду с этим существовали представления о «небесном всаднике — хранителе вселенной»... Существовало шаманство...

Архаичный быт М. сохранялся и в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции.

Советская власть, уничтожив национальное неравенство, угнетение и эксплуатацию, открыла для М. широкий путь к национальному разви-

тию и обеспеченной жизни. Основными занятиями М. являются охота и рыболовство. Развивается земледелие... Немаловажную роль играет оленеводство (заимствовано у ненцев в 13—14 вв.). Олени и лошади — главное транспортное средство; до 17 в. основным упряжным животным была собака. Летом передвижение осуществляется главным образом по рекам; в зимнее время большое значение имеет воздушный транспорт... Национальный женский костюм состоит из распашного халата и шубы (ягушка)[1], мужчины носят глухую одежду с капюшоном из сукна или другой материи, а также из оленьих шкур (гусь, малица). В последнее время широко распространяется одежда городского типа. Народное творчество М. чрезвычайно богато. Красив и разнообразен орнамент на предметах быта и одежде. Интересны формы драматического искусства. Богато устное творчество, заключающее в себе эпические произведения, сказки, мифы и песни.

В дореволюционной России М. были почти сплошь неграмотными. За годы Советской власти создана письменность на мансийском языке, на котором имеется учебник, политическая и художественная литература. Грамотность становится всеобщей — создана широкая сеть школ, больниц, культурно-просветительных учреждений. Происходит индустриализация района, населенного М., который до Великой Октябрьской революции был крайне отсталым. Главные отрасли промышленности — лесная и рыбная. Благодаря сильному сокращению высокой в прошлом смертности (осо-

[1] Ягушка, или яга. Не отсюда ли, кстати, баба-яга в русских сказках?

бенно детской) значительно увеличивается прирост населения». (БСЭ. Том 26, стр. 230).

Поскольку энциклопедия уж под рукой, посмотрим, что она рассказывает на букву «В» о вогулах. О самих вогулах — ничего, кроме ссылки: «см. Манси». Но зато есть небольшая статеечка о тех далеких временах, когда вогулы имели еще свою государственность,— БСЭ. Том 8, стр. 309. «Вогульское княжество.— Объединение вогульских племен на реках Конде, Пельме и нижнем течении Сосьвы, известное с 15 в. под названием Пелымского государства. Правили им местные «князцы», власть которых уже в 15 в. утратила общинно-родовой и приобрела классовый характер. Основу хозяйства составляли охота и рыболовство, на юге развивались земледелие и скотоводство. В 15—16 вв. Пелымское княжество временами платило дань московскому правительству. Окончательное присоединение княжества произошло в 1594, когда князь Петр Горчаков разбил и взял в плен пелымского князя Аблегирима. В 17 в. была ликвидирована политическая самостоятельность В. к. Московское правительство привлекало на свою сторону местных князьков и знать, наделяя их административной и судебной властью».

Теперь заглянем к «Брокгаузу и Ефрону». И не только ради дополнительных сведений, но чтобы почувствовать разницу в стиле, в духе самого текста, ради того, чтобы посмотреть, как это оно получалось, когда еще пользовались люди чистым и живым русским языком в отличие от синтетического, выхолощенного, омертвевшего.

Том 12, стр. 704— 705.

«Вогулы, иначе вогуличи,— исчезающая народность финского племени в России; живет, глав-

ным образом, на восточном склоне Северного Урала... В старину страна вогулов распространялась более к западу и менее к востоку, но с увеличением в крае русского населения и с развитием горного дела вогулы предпочли передвинуться на восток, через Урал, где сравнительно более глухая и нетронутая пустыня представляла необходимые удобства для их жизни, так как главным промыслом их была всегда охота. Из некультурных и малочисленных инородческих племен России ни одно не приобрело такой известности в науке, как вогулы, вследствие предполагаемого родства их с венграми. Еще в 1799 году венгерский писатель Дьярмати, доказывая, что венгерский язык принадлежит к финской группе, заметил, что слова вогульского языка наиболее близки к словам венгерского.

Историк Шлецер, изучая русские летописи, сделал попытку показать, что венгры или угры суть именно потомки вогуличей (или югров, как их называли в старину русские), которые, выйдя из нынешней восточной России, перешли через всю Россию на пути к местам настоящего их жительства.

Важную эпоху в изучении этого вопроса составило путешествие на Урал венгерского ученого Антона Регули (1843—1844), внимательно изучавшего быт и язык вогулов и записавшего много песен, сказок и преданий... Теперь можно считать вполне доказанным, что основания строя и формы в языках венгерском и вогульском, в существе, одинаковы, и в обоих языках много сходных коренных слов. Отсюда явствует, что, несмотря на всю разницу в степени культуры, венгры и вогулы — народы близко родственные.

Число вогулов, живущих ныне в Российской империи, определяется в 6500; но так как значительная часть их — охотники, т. е. народ не оседлый, учет которого вообще труден, то это число можно признать лишь приблизительным. Иные считают их до 4500, другие до 18 000 и даже до 30 000 человек, но последние цифры маловероятны. Кроме подвижности многих вогулов, большое препятствие к правильному их исчислению представляет и то, что оседлые вогулы сильно обрусели, сами себя считают русскими, и притом племенной их тип выражен очень неустойчивыми чертами, так что отличить обрусевшего вогула от русского крестьянина сплошь и рядом невозможно. В общем, вогулы среднего или невысокого роста, крепкого сложения, имеют крупное лицо. Несколько выдающиеся щеки, широкий, но не плоский нос, маленькие суженные темные глаза, черные или темно-русые волосы... Отличаются на охоте замечательной неутомимостью. Зимой они живут поселками в бревенчатых избах с крышами из бересты. Взрослые мужчины большую часть времени проводят в лесу, добывая зверя. Летом вогулы живут под открытым небом и переходят с места на место, питаясь рыбой и дичью. При этих передвижениях они уходят от деревень очень далеко, иногда за сотни верст. На местах временных остановок ими устраиваются берестяные юрты или шалаши. Главное домашнее животное вогулов — охотничья собака, без нее, так же как и без ружья и топора, вогул не выходит из дома... Вогулы сами зовут себя манси или манчи; зыряне же называют их югра, сходно с древним русским именем от югры... Находятся в оживленных сношениях с русскими торговцами. Во время ирбит-

ской ярмарки[1], в феврале месяце на Конду съезжаются русские купцы и крестьяне для менового торга с вогулами. Предметами обмена являются со стороны русских мука, холст, сукно, водка, принадлежности охоты и пр., а со стороны вогулов — пушнина, рыба, орехи и т. д.

На Конде, в едва проходимых лесах, находился, как говорят, главный идол вогулов; другой важный идол был около верховьев реки Сосьвы.

В истории России вогулы появляются в год смерти первого епископа пермского св. Стефана, когда летописи впервые упоминают о них. С этого времени они не перестают напоминать о себе. В 1455 г. при одном из своих набегов на зырян они проникают, под начальством князька Ассьяна, даже до Вычегды. Четвертый и пятый епископы пермские, Питирим и Герасим, убиты вогулами, первый — при одном из набегов, а второй — во

---

[1] Об ирбитской ярмарке Советская энциклопедия коротко сообщает: «Ирбитская ярмарка. На Урале в г. Ирбите проводившаяся ежегодно с половины 17 века по 1930 год. Центр торговли европейской части России (ткани, кожи, пушнина, чай и др.). 2-я по товарообороту в Российской империи после Нижегородской.

Если так, заглянем и на букву «Н»: «Нижегородская ярмарка. В Н. Новгороде (ныне г. Горький) действовавшая ежегодно в июле — августе с 1817 г. (по 1930.— *В. С.*), бывшая Макарьевская ярмарка. Кроме русских, участвовали восточные и з. европейские купцы: ткани, металлы (включая, разумеется, и золото с серебром.— *В. С.)*, хлопок, шелк и др. 1-я по товарообороту в России...»

Остается сказать, что если (согласно той же энциклопедии на букву «Я») в середине 19-го в. в России действовало 6 тысяч ежегодных ярмарок, то в начале 20-го в. их было уже 18 (восемнадцать) тысяч. Естественно, Россия ведь гнила и нищала. Общий оборот этих ярмарок был более 2 миллиардов рублей. Надо ли добавлять, что в 1930 году из 18 000 ярмарок не действовало уже ни одной.

время проповеди. В 1483 г. московское правительство, озабоченное беспокойством, производимым этими инородцами на северо-восточной границе, двигает против них военную силу. Воеводы князь Курбский-Черный и Салтыков-Травин нанесли им тяжкое поражение при р. Пелыме, заставили их принять русское подданство и обложили данью. В 1499 г. пришлось предпринять новый поход, так как вогулы взбунтовались. Русские отряды прошли всю вогульскую землю и восстановили спокойствие. Набеги, однако, не прекратились: в 1581 г. вогулы напали на строгановские города, а в следующем году подступали под Чердынь. Оказалось необходимым поставить постоянную стражу в пределах самой земли вогулов. В 1592 г. Н. Горчаковым был основан Пелым; тогда же был казнен вогульский князек Албегаран. Последний вогульский бунт относится к XVII столетию. Проповедь христианства между пелымскими вогулами предпринял в 1714 г. тобольский митрополит Филофет Лещинский и вел ее с таким успехом, что в 1722 г. все вогулы этого края были окрещены. С тех пор они начали принимать русские обычаи и жить на русский образец. При брачных союзах с русскими вогулы быстро утрачивают племенной тип и совершенно сливаются с русскими. Происшедшее от таких союзов потомство — люди трудолюбивые, смышленые, иногда очень красивые. Многие из них зажиточны».

Ну, комментировать в этих выписках почти нечего, разве что подивиться, почему после фразы «...значительно увеличивается прирост населения», опубликованной в 1954 году, приведена численность манси за 1927 год (6300)?

Тут-то бы и блеснуть цифрой. Все-таки почти сорок лет прошло с Великой Октябрьской. Значит, либо не было переписи и тогда «значительно увеличивается прирост» — пустая фраза, не подтвержденная действительностью, либо перепись была, но она не подтвердила желаемого, выдаваемого за действительное, и спокойнее было в 1954 году воспользоваться данными 1927 года.

Можно отметить некоторое противоречие и в другом месте. «Советская власть, уничтожив национальное неравенство, открыла широкий путь к национальному развитию...», а несколькими строками ниже: «В последнее время широко распространяется одежда городского типа». Что же это за одежда городского типа? Откуда она пришла? От русских? Тогда причем национальное развитие? Но она пришла и не от русских. Русские сами вместо косовороток, поддевок со сборками, рубах под поясок, хромовых сапог, картузов с лаковыми козырьками, сарафанов, кокошников, женских сапожек, высоких, зашнурованных, длинных юбок и платьев, вместо ярких, красочных разнообразных костюмов рязанских («красной рюшкою по белу сарафан на подолé»), орловских, казацких, воронежских, вологодских, тамбовских, сибирских (вспомните хотя бы картину Сурикова «Взятие снежного городка», написанную уже в XX веке, и посмотрите, как там одеты люди), вместо всего этого национального разнообразия русские и сами стали носить ту же одежонку «городского типа», те же серенькие однотипные пиджачишки да костюмишки, равно как вогулы (манси), дагестанцы, грузины, узбеки, таджики, украинцы, белорусы. А «национальное развитие» сосредоточилось все и у всех племен, народностей и

народов в трех местах: в ансамблях песни и пляски, в театрах (преимущественно в оперных) да еще в краеведческих музеях. Задача в том и состояла, чтобы, выставив яркую национальную вывеску в виде ряженых из ансамбля, всех нивелировать, привести к общему знаменателю, к одежде «городского типа», к однообразным пиджачишкам, костюмишкам, кепчонкам, а повыше уровнем — к шляпам. Только в самые последние годы кое-где в Средней Азии стали мелькать опять их национальные халаты и тюбетейки, может быть, отдельные бешметы, черкески на Кавказе (папахи во всяком случае), но для русских, равно как и для манси, процесс представляется необратимым.

В старой энциклопедии одно место тоже просится, чтобы его пояснили. Написано, что очень уж удачно проповедовал христианство тобольский митрополит Филофет, с таким успехом проповедовал, что в 1722 году все вогулы были крещены. Но дело происходило проще. Петр I (а характер его известен) приказал поголовно всех вогулов окрестить. А кто откажется, тех повесить. Имея такое распоряжение в кармане, легко было митрополиту проповедовать христианство. Но должен сказать, что это обращение в православные было формальным. Появились у вогулов русские имена, но остались и все шаманы, и все почитания зверей и предков, и обычаи, и обряды, и главный идол на реке Конде, и другой важный идол в верховьях Сосьвы, и театральные действа после удачной охоты вокруг медвежьей головы, и песни, и пляски, и орнаменты на одеждах. Все это (шаманы в особенности) кончилось, когда открылся «широкий путь к национальному раз-

витию». Тогда всех шаманов перевели, тогда всех одели в вышеупоминавшиеся одежды «городского типа», а избушки с древними идолами срыли бульдозерами.

Теперь — поразительная историко-романтическая страничка. В какие времена, почему и как снялась бóльшая часть племени и во главе с вождем по имени Атилла ушла с Северного Приуралья на берега Дуная и Тиссы? И почему часть племени осталась на месте? Больные и старики? Или охранять священных идолов, беречь землю, на случай, если бы ушедшим пришлось возвратиться?

Может быть, именно потому, что позднейшие вогулы (манси) сформировались из остатков племени, проросли из корешков, оставшихся в родной почве, может быть, они поэтому столь малочисленны? Все-таки 7000 это очень мало. Можно сравнить. Соседних зырян (коми) 226 000. Тунгусов в Сибири (эвенки) — 40 000. Мордвы — 1 500 000. Удмуртов — 700 000. Малых народностей Кавказа: лезгин — 134 000, лакцев — 40 000, аварцев — 144 000, адыгейцев — 88 000, татов — 28 000... Северных соседей манси — ненцев (оленеводов), живущих в тундре, то есть в еще более суровых условиях, чем таежные манси, и то — 17 000, чукчей — 12 000...

Нет, что ни говорите, а мало манси, ушло все основное племя на Дунай и, варясь там в среднеевропейском котле истории, выковало из себя, образовало великолепный, крепкий, самобытный народ — современных венгров, мадьяр. Вспомним, что на европейских языках Венгрия называется Унгарией, Хунгарией, тут слышатся и угорский (финно-угорский) язык и древнерусское словечко — юрга.

Остатки племени так и провели многие века на Сосьве, охраняя древних идолов, пробавляясь таежной охотой и рыбной ловлей. Они не создали Ференца Листа, Бартока, огненный танец чардаш, не породили Петефи, не построили здание венгерского парламента, ажурных мостов через Дунай, не снабдили человечество золотистым токаем, душистыми сортами салями, разнообразными видами паприк... «Звучит курсовая «венгерка», роскошно стучат каблуки».

Но душа у народа все равно есть, независимо от его численности. И душа эта должна найти для себя выражение. В песне, в орнаменте, в обряде ли. Или, может быть, она найдет себе выразителя, как бы связанного между собой и другими народами. Таким выразителем и связным и стал мансийский поэт и прозаик Иван Николаевич (Юван, простите) Шесталов.

Мать Ювана была дочерью настоящего «профессионального» шамана. Мы его и самого называем иногда по-дружески шаманом. Встретимся в Москве на каком-нибудь там пленуме:

— А, шаману привет!

— Что же ты? — ответит Юван,— заглянул бы в мой чум...

Чумом он называет и свою ленинградскую квартиру и дачу где-то на берегу Финского залива.

Он весь насквозь пронизан, вернее сказать, напитан (генетически напитан) охотничьими инстинктами и традициями. Они у него в крови. Ну, охотиться под Ленинградом — не очень-то поохотишься, остается рыбная ловля. Тоже не бог весть что, какие-нибудь окуньки да плотвички, но главное — удовлетворить внутреннюю духовную по-

требность. Какая-то у него там лодчонка на даче, какая-то сетчонка. Ну, не может он жить без воды, без рыбешки.

А шаманское «нечто» в нем есть, это точно. Иногда его глаза за минусовыми стеклами очков еще больше расширяются и округляются; черные, частые, плотные, я бы сказал, мелко-волнистые, упругие, словно проволока, волосы раздаются во все стороны, именно больше в стороны, чем вверх, и только что пена не появляется на губах. В такие минуты, когда говорит в нем кровь деда, и появляются у него «шаманские» строки.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Люди!
Если у вас еще не оглохли уши от жизни,
От жизни, летящей железной птицей,
Послушайте меня,
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!

Стихи Юван легко перемежает лирической прозой.

...В верховьях безымянной речки... бульдозерист расчищал место для нового селения нефтяников, увидал полуразвалившуюся избушку на «лосиных ножках». Ее сторожили самострелы, притаившиеся среди древних кедров и лиственниц, и плосконосые идолы, стоящие вокруг поляны... Удивленный бульдозерист вытаскивал из избушки почерневшие от времени деревянные сабли и стрелы, лоскутки материи, шкурки каких-то зверей, березовые маски, монеты серебряные и золотые, медные амулеты с загадочными узорами, цепочки, железки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одежде, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом...

Он небрежно бросал все это в снег. И, удивленный дикостью, он рассмеялся...

Но поэт не рассмеялся на этом месте. Он услышал другое.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Я не нищий! Не холоп!
Вы предо мною снимали соболиные шапки,
А не я перед вами.
Ваши молитвы легкими снежинками
Стелились к моим ногам.
Глаза ваши были полными озерами слез.
Вы это уже позабыли?!
Души ваши были темными пещерами,
Полными страха и сомнения.
Вы шли ко мне,
И я успокаивал вас.
И это
Вы в своей тощей памяти
Зарастили мусором?
. . . .

Не на луне, а на земле
Стояло капище мое!
Среди кедров онемевших,
На четырех ногах, вросших в землю,
Стояло капище мое.
Стрелы с острым клювом птиц
В хвое таились —
Стояло капище мое.
. . . .

Лицом деревянным, глазами деревянными
Я глядел на вас —
Стояло капище мое.
На четвереньках ко мне ползли вы —
Стояло капище мое.
Не только оленя, но и себя
Принести могли вы в жертву мне —
Стояло капище мое.
Злые языки за зубы прятались —
Стояло капище мое.

Вверх ногами не ходили —
Стояло капище мое.
Бранью тайгу не оглашали —
Стояло капище мое.
Даже звери не рычали —
Стояло капище мое.
. . . .
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!
Стояло капище мое.

Капище срыли бульдозером. Расшумелась, раскаркалась тайга. Опять-таки много тут от шаманства. В другом месте Юван воспроизводит возгласы шамана:

Кара-кий-я! Хос-хос!
Кара-кий-я! Кара-кий-я!

Разве далеко от этого до звукозаписи, которую собираемся выписать?

«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!» —
Стонет где-то филин...
«Карр! Карр! Карр!» —
Каркают деревья,
Черные от воронов,
«Халэв-лах-лах, лах-лах,
Лах-лах, лах-лах, лах-лах!» —
Заливаются в смехе чайки.
«Тырр, чирр, тырр, чирр»,—
Трещат хвостами сороки.
«Ха-ха, хи-хи, хо!» —
Смеются птички-невелички.
«Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!
Карр! Карр! Карр!
Тырр-Чирр-Тырр!
Халэв-лах-лах!
Ха-ха, хи-хи, хо!

А между тем скудеет тайга, пустеют реки. И конечно, это никак не может пройти мимо потомка бесчисленных поколений охотников. И тут у Ювана находятся самые лучшие и самые крепкие строки.

Тут и «Дума глухаря» и «Плач осетра» и «Песня последнего лебедя», и — в «Языческой поэме» — Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая думы медвежьей головы.

У нас привыкли говорить примерно так:

«Отсталый некогда край сделался индустриальным». К этой формуле мы привыкли. Но ведь если в приуральскую тайгу врубились нефтяники и газопроводчики с современной тяжелой техникой, это что же, манси развивают свою индустрию? Да нет, просто это на месте их обитания действуют нефтяники и газопроводчики. Равно как если на берегу Байкала пустили огромный химический комбинат, это вовсе не означает, что буряты развивают свою крупную химическую промышленность. В конце концов не можем же мы сказать, что казахи осваивают космос, только потому, что именно на территории Казахстана находится известное место «Байконур»?

А что же остается вогулу, манси, а в особенности мансийскому поэту?

Я — мансин, я мансин,
Я — птица глухарь.
Мне сердце туманит
Таежная гарь.

В ушах моих — пепел,
В глазах моих — дым.
Куда же мне деться
От этой беды?

Плачет и соболь, но пока еще с вызовом.

Много раз меня из лука
Убивали наповал —
Вопреки людской науке,
Я, как в сказке, воскресал.
Иль на нефть меня сменяют,

Соболиный сгубят гон?
Но себе я цену знаю
На прилавках всех времен.
. . . .
Пусть за мной бегут пожары!
Я укроюсь от огня.
Только знайте: вздорожает
Шубка модная моя.

Осетру еще хуже, дело его безнадежное.

Плач осетра

Я — государь в подводном царстве,
Я — рыбий царь.
В глубины вод у крутояров
Течет угар.

Зачем, о небо, мутишь струи?!
Беда, беда!
И вымер этой ночью лунной
Косяк солдат.
И плавники уже, как весла

Черны, черны.
Нам яд чернильный, видно, послан
От сатаны.

О, где раздольнейшие плесы!
О, говор волн!
Давно не знали наши весны
Подобных войн.

Ловили все рыбешек слабых
Тут подо льдом.
Но так никто еще не грабил
Хрустальный дом.

О человек! Уйми пожары!
Ты сжег царя!
Я мирный царь в подводном царстве,
Спаси меня!

Но верха выразительности Юван достигает (так я считаю) в так называемой «Пятой думе мед-

вежьей головы». Оказывается, когда убьют охотники медведя, устраивают медвежье игрище. Голову убитого зверя кладут на почетное место и гуляют, пируют, пляшут вокруг нее. По обряду, то начинают ее хвалить и возвеличивать, то хулить. Ну, вроде того, что

Его очи —
пустые консервные банки с вонючей
водой, что валяются на замшелой скале...

Рот его —
осклизлая темная яма,
в которую сыплют дерьмо,
льют помои и грязь,—
все смердит в этой черной и мерзостной яме.

А голова медвежья между тем на все смотрит и все слушает. К тому же, оказывается, еще и думает.

Тут надо оговориться. В поэзии часто бывает так, что в особенные патетические моменты поэт, говоря от чьего-либо имени, вдруг как бы невольно начинает говорить так, как он мог бы сказать от себя или о себе. Он выходит на обобщение и это обобщение достигает взрывоопасной силы.

Например, Андрей Вознесенский пишет стихи о Гоголе (используя легенду, что великого писателя похоронили в состоянии летаргического сна):

Помоги мне подняться, господь,
Чтоб упасть пред тобой на колени!

Это говорит Гоголь, но это говорит и сам поэт, о себе. Это говорит о себе и каждый читающий эти стихи человек. На то она и поэзия.

Или тот же Андрей пишет об американской актрисе Мэрилин Монро, покончившей (по официальной версии) самоубийством. Пишет он, пишет и вдруг восклицает:

Невыносимо, когда насильно,
Но добровольно невыносимей.
Невыносимо, когда бездарен,
Когда талантлив — невыносимей.

То же ощущение (что поэт говорит от себя, о себе и меня заставляет читать стихи как бы от самого себя) не покидало меня при чтении «Пятой думы медвежьей головы», в отличном, кстати сказать, переводе покойного В. Португалова.

«...На столе большом сижу,
На столе большом священном,
С высоты стола гляжу
На людей, на пол, на стены.
Ночь — к рассвету. Я не сплю,
Думу думаю свою.
Обескровлен я, бессилен,
Но глаза мои глядят:
Люди, что меня убили,
Супротив меня сидят.
Брагу пьют, мясцо едят,
Злые речи говорят.
. . . .
Я бы грыз их и царапал,
Опьяневших от вина,
Я б их сшиб когтистой лапой,
Да... отрублена она.
Я б в них выстрелил словами[1],
Как железною стрелой,
Я б в них выстрелил словами,
Как железною стрелой,
Но язык они же сами
Вырвали из рта долой.
Не раздастся грозный рык —
Съеден с водкой мой язык.

---

[1] Проговорился поэт, что говорит тут от себя. Какие у медведя слова?

Нету тела, нету лап:
Я неловок, я ослаб.
. . . .
Голова болит от шума,
От мелькания теней...
Только думать, думать, думать
Разрешают люди мне.
В синей дымке, в полумгле
На большом сижу столе.

Я сижу молчу, как рыба,
Никого я не корю,
Людям в мыслях, «пумасипа!»
Я сегодня говорю.
Людям, что в последнем сне
Не мешают думать мне.
Сколько вам угодно, люди,
Столько буду здесь сидеть.
Петь мой рот беззвучно будет,
Вместе с вами молча петь.
Из бутылки пробку выбью,
Золотую чарку выпью.
. . . .
Буду слушать здесь, в углу,
Всю хулу и всю хвалу.

За радушие «спасибо»
Ныне людям говорю.
«Пумасипа! Пумасипа!» —
Я людей благодарю.

...В начале нашего с Юваном знакомства надо отметить два взаимных момента, которые помогли нам сразу сблизиться.

В 1957 году я опубликовал в «Новом мире» «Владимирские проселки», а вскоре (правда, уж в другом журнале) — «Каплю росы». Возник разговор о «лирической прозе». Эта лирическая проза произвела в литературном процессе тех лет определенную детонацию. Ольга Федоровна Берггольц сама признавалась мне, что идея написать свое

«Путешествие за Невскую заставу» у нее возникла после прочтения «лирической прозы». (Потом была моя статья о ее «Путешествии», и называлась статья в «Литературной газете» «Дневные звезды», и тогда Ольга Федоровна переименовала свою повесть.) Смуул тоже говорил, что его «Ледовая книга» (идея написать ее) навеяна лирической прозой. Михаилу Николаевичу Алексееву труднее было бы от своей военной темы (роман «Солдаты») перейти к своему, любимому им, многострадальному селу Монастырскому. Сергей Крутилин написал «Липяги»... Ну, вот, была детонация. Молодой поэт манси Юван Шесталов сочинил тогда тоже лирическую прозу «Синий ветер Каслания». Осознавая, откуда получила импульс его душа, он заранее, до нашего личного знакомства, относился ко мне хорошо, а мне его лирическая проза оказалась близкой, хотя бы по манере письма. Выступая по телевидению, я упомянул «Синий ветер Каслания», как одно из интересных изданий современной литературы. Юван это услышал, увидел и до сих пор не забыл. Ему, тогда молодому, начинающему, было важно упоминание по телевизору не столько ради себя самого, сколько ради земляков в приуральской тайге. «Синий ветер Каслания», равно как и более поздняя повесть «Когда качало меня солнце», равно как и прозаические страницы, перемежающие его «Языческую поэму»,— это все о детстве, о родных местах, о народных мансийских обрядах, обычаях, песнях, о его, Ювана, родственниках, о матери с отцом, о земляках, о родной земле.

Мать его была дочерью зажиточного человека и к тому же шамана, а отец Ювана был бедняком, организатором колхоза и его бессменным

председателем на протяжении десятилетий. Ну, положим, организовывали колхоз люди, приехавшие со стороны, издалека, но им в своей деятельности необходимо было опереться на кого-нибудь из местных, поддавшихся их агитации и пошедших им в услужение. Такие всегда находились, хотя бы и по одному-двум человекам на деревню. И вот в Юване совместились два начала: истинно народное, извечное, от истории, от преданий, от фольклора, от обычая, от народной души, и привнесенное извне, чужое и чуждое, чтобы не сказать жестче — враждебное народу и призванное превратить людей в послушных безмолвных рабов. (Тогда еще никому не известно было, что в конечном счете из этого ничего не выйдет. Уничтожить крестьянство, как таковое, удастся, но превратятся крестьяне не в послушных рабов, а в бездельников, государственных иждивенцев и пьяниц).

С одной стороны, Юван пишет:

В сердце матери сердце родилось мое,
В сердце доброй Миснэ сердце родилось ее.
(Миснэ — это добрый дух тайги, лесная фея.— *В. С.*)
В сердце народа родилось сердце Миснэ лесной,
А сердце народа родилось в сердце земли родной.

С другой стороны, Юван же пишет, изображая сельскую самодеятельность и самодеятельного певца Потепку с музыкальным инструментом санквалтапом в руках:

Живу, думаю, думаю:
«Трудно человеку жить без колхоза,
Очень плохо жить без колхоза!»

С одной стороны, соболь в стихах у Ювана вопрошает:

Иль на нефть меня сменяют,
Соболиный сгубят гон,
Но себе я цену знаю
На прилавках всех времен.

С другой стороны, Юван же восклицает:

Нефтевышка талисманом
На груди тайги горит.

Его отец, заманивая людей в колхоз, вынужден обманывать их. (Впрочем, возможно, он так и думал, а просто его самого сперва обманули.) Вот он уговаривает Юванова дедушку сдать в колхоз лошадь, трех коров и несколько овец.

— Молока захочешь — в колхозе возьмешь,— убежденно говорил он.— Надо будет куда съездить — лошадь возьмешь в колхозе. Чулки связать нужно будет — шерсть возьмешь в колхозе...

Но, как говорится, «Любви, надежды, гордой славы недолго тешил нас обман».

Уже на следующей странице читаем:

— На чем привезешь дрова? Нету у дедушки лошади.

— Где возьмешь молока? Нету у бабушки коровы.

— А в колхозе не допросишься...

Еще через страницу читаем:

«А дедушка делает гимги, снасти рыболовные из прутьев и кореньев плетет. Председатель просит его научить молодежь.

— Позабыли,— говорит,— древнее ремесло, а ловушек,— говорит,— так не хватает. Председатель почти каждый день ходит к дедушке. За труд дедушке выписывается литр обрату. Вкусно и такое молоко».

(Может, кто-нибудь не знает, что такое «обрат»? Это когда молоко, бесплатно изъятое у колхозников, увозят на молокозавод, пропускают там через сепаратор. В одну сторону текут сливки, в другую сторону — синенькая обезжиренная водичка. Ее возвращают в колхоз, поить телят. Да вот еще дедушке за труды.) А где же то, что сулили: «Молоко захочешь — в колхозе возьмешь»? Мягко стелил отец, да жестко дедушке было спать.

Мать, оказывается, стала бригадиром в рыбацкой бригаде. Ну, как же? Жена председателя колхоза! Детишки ее ждут. Вогульские детишки по наследству привыкли считать рыбой нельму да муксуна, стерлядь да осетра. Они ждут свою мать-бригадиршу с рыбой.

«И мама приезжает. Она приносит рыбу. Не муксуна, не нельму, а щуку одну приносит.

Мы не спрашиваем, почему она так мало принесла. Мы знаем: в бригаде есть особый уполномоченный из района, девушка там есть такая. Она смотрит, чтобы всю рыбу сдавали...»

Тут следующий мотив: «Мама и сама не возьмет — она бригадир...»

Ну... Сознательность — сознательностью, но знала мама и то, что возьмешь рыбину и — тюрьма. Уж если сажали в тюрьму за горсть колхозного зерна, за подобранные на поле колоски, то за нельму-то с муксуном!..

Из энциклопедии об этих местах я выудил фразу: «На базе коллективизации произошло перевооружение рыболовного и пушного промыслов».

Значит, не нужны уж больше дедушкины деньги, навезли капроновых сетей, современных карабинов и ружей.

Но это ведь вовсе не значит, что сами манси

больше видят теперь нельмы или соболя, а значит это только одно: все интенсивнее вычерпывает государство (а куда девает?) ресурсы тайги и таежных рек. Сами же манси довольствуются в сельпо замороженным хеком да ставридой в томате, а то еще рыбными фрикадельками.

Юван (скажу, забегая вперед) показал мне скамейку над Сосьвой-рекой, на которой последние годы, уже отошедший от председательства, его отец сидел и думал. Думал и думал. Целыми днями, оказывается, думал, месяцами думал, годами думал. И ни с кем своими думами не делился. «Только думать, думать, думать разрешают люди мне».

2

Отец умер в очень неудобное для Ювана время. Юван находился в это время в какой-то далекой поездке и попасть на его похороны не мог. Он решил отдать отцу сыновий долг в пятидесятый день. У нас по-православному справляется день сороковой, а у манси почему-то — пятидесятый. Но уж помянуть как следует, вплоть до забоя жертвенного жеребенка. По старинным правилам и обычаям.

Начал Юван уговаривать и меня. Мне и в голову не пришло бы лететь куда-то к черту на кулички, но потом в сознании сразу как-то что-то переломилось: почему бы нет? Да и Юван настаивал.

— Предисловие к моей книге писал, а землю нашу не видел. Сосьвинской селедкой я тебя угощал, а Сосьву-реку не видел. О картине Сурикова «Меншиков в Березове» ты писал, а Березова не видел. Потом, я не просто так еду, а отца помянуть. Один раз в жизни бывает.

И вот начали кружиться в сознании этот жертвенный жеребенок, книги Ювана, река Сосьва, эти вогулы, эти идолы, Меншиков в Березове, и вскоре как из компьютера выскочил ответ: пожалуй, поеду.

— А еще-то кто с нами? Или вдвоем?

— Обещался Прокушев, но — не знаю. А вот кто твердо поедет, так это профессор Будапештского университета Михай Варга. Откажется Прокушев — полетим втроем.

У Ювана было с двух сторон не то чтобы сложное, но, скажем мягче, не очень простое положение. С одной стороны, мы — гости (и как-никак профессор Будапештского университета), а с другой стороны — местные власти. Конечно, Юван сейчас — самая большая культурная ценность манси, но все же не Расул Гамзатов и не Чингиз Айтматов. Мы не берем степень талантливости или потенциальных возможностей. Мы берем даже не степень популярности, но степень, так сказать, общественной весомости, советской масштабности. Те — Герои Соцтруда, депутаты-лауреаты, Гамзатов, вон, член Президиума Верховного Совета СССР. Они с местными властями могут вполне говорить «с позиции силы». Ювана тоже почитают в Березове или Ханты-Мансийске, но все же он, как бы это выразиться поделикатнее, должен с местными властями ладить. Вот везет он нас, своих гостей, на свою родину. Он хочет, чтобы приняли нас как можно лучше, душевнее, но и престижнее. С другой стороны, и мы для него перед местным начальством тоже своеобразная мера престижа. Все же не замухрышек каких-нибудь привез безымянных... А ему ведь еще нужно выпросить катер для нас в полное распоря-

жение на несколько дней, притом катер с экипажем, чтобы ездили свободно по просторам Сосьвы-реки, и чтобы экипаж был не дурак и рыбки поймать, и спроворить уху, и сделать из этой рыбки драгоценную малосолку — редчайшее лакомство. Да еще надо выпросить ему молодого жертвенного жеребенка. А это, пожалуй, посложнее, чем катер с экипажем на несколько дней. Катер вернется как ни в чем не бывало и экипаж не будет в претензии за прогулку по Сосьве со столичными (и даже, вот, с заграничными) гостями. Жеребенок же на конезавод никогда уже не вернется...

Заранее скажу, что уважили Ювана и приняли нас в Березове хорошо, но нельзя же не сказать о Березове хотя бы несколько слов.

Не знаю, что принесло этому небольшому зауральскому городку большую славу. Сама ли ссылка сюда Александра Даниловича Меншикова или картина Сурикова об этой ссылке. Ведь Меншиков сначала был сослан в свое воронежское имение Ранненбург и жил там некоторое время, и только потом уж его сослали еще дальше, в Березов.

Меншиков выехал из Ранненбурга в апреле 1728 года, а скончался в Березове в ноябре 1729-го. Если вычесть время на дорогу, а она заняла несколько месяцев, то получится, что жил он в Березове всего ничего. Ну, правда, скончался и похоронен. Теперь спросим у многих людей, слышали ли они что-нибудь про ссыльное для Меншикова место Ранненбург? Уверен, что, кроме специалистов-историков, никто ничего не слышал, а про Березов? Ну как же, господи! «Меншиков в Березове». Кто же не знает? Такова сила искусства,

особенно такого великого художника, каким был Суриков. Ну, конечно, еще и популярность Третьяковской галереи. Толпы и толпы проходили через ее залы на протяжении десятилетий, и каждый останавливался около суриковского холста, каждый разглядывал, любовался, если и не самим Меншиковым, то его меньшой дочкой Александрой, истинно одухотворенной русской красавицей (ее Суриков писал со своей первой, рано скончавшейся молодой жены), соболезновал и вздыхал.

Вот личность (я про самого Меншикова говорю) — одна из самых интересных личностей в русской истории! Несколько раз предлагали из редакции «Жизнь замечательных людей» написать для них книгу о ком-нибудь по своему выбору. Вплотную я не задумывался, потому что нужно ведь влезать в многотомные архивы, в эпоху, в бытовые подробности. И кроме того, трудно для меня написать так, чтобы и сказать то, что я хочу, и удовлетворить редакцию и издательство. Возникала фамилия Жуковского. Но как писать об Василии Андреевиче и опустить из его биографии (а значит, и из книги), что он был воспитателем одного из просвещеннейших и лучших российских государей — Александра II? Александр II впоследствии победоносно закончил кавказскую войну, отменил крепостное право, освободил болгар от турецкого ига, провел несколько благотворительных реформ. Ведь с неподдельным изумлением и удивлением он воскликнул, обращаясь к убийце, бросившему в него бомбу:

— За что же ты меня, братец?!

Да он мог бы и не погибнуть. Но первая бомба ранила случайного мальчика, и Александр выпрыг-

нул из экипажа, чтобы помочь этому мальчику. А тут и вторая бомба...

Нет, ты пиши о Жуковском, как о поэте, как о друге Пушкина, а о том, как он воспитывал будущего императора, писать не надо. Ну, так не хочу я писать так, как вы хотите!

Перебирал я в уме и еще несколько фигур. Карамзин с его «Историей государства Российского», эпологией самодержавия, как принято считать с точки зрения вульгарного социологизма?.. Так вот. О иных всего не скажешь и не расскажешь, другие несимпатичны от начала и до конца. И тогда мелькала мимолетная мысль — Меншиков. Вот о ком можно бы написать.

Ведь это надо же: из уличного мальчишки сделался первым помощником, да что помощником, другом Петра Великого! И когда (водился за ним грешок, прилипала к рукам государственная казна) разные комиссии катили на него бочки, как сказали бы мы теперь, и когда уж неопровержимо докладывали царю, что уличен Александр Данилыч, царь закрывал дело одной фразой: «С Данилычем меня бог рассудит».

Многие ищут в отношениях Меншикова и Петра какой-то такой услуги (сделанной хотя бы и в молодости), которой царь не забыл никогда. Были, наверное, и услуги, но дело все же не в этом.

Во-первых, почему не допустить, что Петру как живому человеку нужен был среди множества верноподданных просто друг. Во-вторых, Петру нужно было как бы его второе «Я», как бы второй Петр, ибо при его кипучей и многогранной деятельности он везде не успевал.

Только Меншиков мог в связи с изменившей-

ся обстановкой действовать во изменение царских указаний, мог принимать самостоятельные, часто дерзкие решения, но всегда идущие на пользу царскому, то есть общему делу. Царь ему повелевает в письме от 9-го числа взять такой-то город (Опошню вблизи Полтавы), а город этот уже 7-го Меншиковым взят. Не секрет, что и Полтавская битва выиграна не на пятьдесят ли процентов благодаря инициативности и личной беззаветной храбрости Александра Даниловича. Стяжал, конечно, стяжал где мог, но и живота своего не щадил.

Вот, скажем, сражение под польским городом Калишем. В то время поляки были разделены на два соперничающих лагеря. Один возглавлялся Станиславом Лещинским, а другой — польским королем Августом II. С Лещинским была вся шведская армия, а с Августом II — Александр Меншиков. Не будем вдаваться в подробности тогдашней политики. Автор монографии о Меншикове Николай Иванович Павленко пишет на стр. 39:

«Исход сражения определили русские войска и энергичные действия Меншикова. В сражении он блеснул и полководческими дарованиями и личной отвагой. Хотя он накануне и успокаивал супругу, находившуюся в обозе, что «в баталии сам не буду», но в критический момент сражения ринулся в пекло битвы и был легко ранен. Отвагу светлейшего признал даже Август. Он писал Петру после сражения у Калиша: «Я был вполне всем доволен, и если могу на что жаловаться, так это на князя Александра, потому что он в этой войне, ревнуя о славе вашего величества и о нашей общей пользе, подвергал себя очевидной

опасности и тем причинил мне немалое беспокойство».

Меншиков спешит уведомить Петра об успехе. «Не в похвальбу вашей милости доношу: такая сия прежде небывалая баталия была, что радошно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились... И сею преславною шастливою викториею вашей милости поздравляю и глаголю: виват, виват, виват!». Обрадованный приятной вестью, Петр садится за стол и «сочиняет» чертеж дорогой трости, украшенной алмазами, крупными изумрудами и гербом Меншикова. Тростью, стоившей 3064 рубля, 16 алтын деньги, царь одарил своего любимца».

Впоследствии, когда после смерти Петра Меншикова везли в ссылку и описывали и постепенно конфисковывали его имущество, «среди конфискованных предметов находилась и трость, изготовленная по эскизу Петра и подаренная Меншикову за Калишскую победу. Она, согласно описи, выглядела так: «Трость, набалдашник золотой, весь осыпан алмазами, а между алмазами 3 места финифтных (эмалевых.—*В. С.*), наверху набалдашника большой изумруд земленой; внизу набалдашника, где лента вдевается, два колечка маленькие алмазные, наконечник золотой, при том кольцо с алмазами, одного алмаза нет». (Павленко Н. И. Александр Данилович Меншиков. М., 1984, с. 165—166.)

Никто не сосчитает, сколько бесценных ценностей было, как мы говорим, утрачено, погублено, распродано, вывезено за границу за бесценок, просто вывезено за границу. Сколько российских, княжеских, графских, императорских сокровищ погибло для России навеки. Говорят, когда рек-

визировали Троице-Сергиеву Лавру, рубины и жемчуга выносили кадками. Где патриаршья ризница, находившаяся в Кремле? Где золото, серебро, драгоценные камни, ушедшие через так называемые торгсины? Эшелонами утекало старинное русское серебро. Скорбим и плачем, кусаем локти и негодуем. Трудно, невозможно, чтобы все это уложилось в уме. Но потом приходят успокаивающие, как бы обезболивающие аргументы. Революция, а тут такие богатства! Классовая борьба. Диктатура пролетариата. Экспроприация экспроприаторов. Лес рубят — щепки летят. И потом ладно — не будем углубляться исследовательским зондом в эту до сих пор кровоточащую рану, ибо бог знает что нащупает зонд в ее глубине. И потом — ну, утекло из России. Но где-нибудь все-таки существует. Вон, мне писала одна женщина из Калифорнии, что там, в частном собрании, хранятся царские врата, подаренные Екатериной II киевской Софии, чеканные, позолоченные, полторы тонны весом. Не будем гадать, как они попали из Киева в Калифорнию, в частное собрание. Но они, по крайней мере, хоть целы.

Но вот — трость, выполненная по личному эскизу Петра. Подаренная им своему лучшему и вернейшему другу Александру Даниловичу Меншикову. И вот наследники Петра, один за другим сменяющиеся на престоле. И новые временщики вроде Бирона (но, конечно, мелкота, мошкара по сравнению с Меншиковым). Они могли не любить, бояться, опасаться Меншикова, они сослали его в Березов. Но Петр-то есть Петр. Петр Великий. Как же могла у них подняться рука, чтобы раскурочить уникальнейшую трость, выковырнуть из нее все драгоценные камни? Мало, что ли, было

им драгоценных камней? Весь Урал в их руках. Все алмазно-изумрудно-гранатовые россыпи. Бирюза и горные хрустали, аметисты и топазы — все в их руках. Какое же крохоборство, я бы сказал, невежество, какая слепая алчность — расковыривать трость, изготовленную по личному эскизу Петра! Ведь это теперь перекрыло бы стоимость всех находящихся на трости драгоценных камней во много раз. Представим себе, что она хранилась бы теперь, ну хоть в той же Оружейной палате...

Меншикова везли в Березов уже больным, пятидесятишестилетним человеком. Стариком — сказали бы в те времена, хотя по нашим понятиям это даже еще и не пенсионер. Известно, когда его вывезли из воронежского имения,— 16 апреля 1828 года. Известно, что Соль Камскую ссыльный проехал 24 июня, а Тобольск — 15 июля. Но дальше даты теряются. О приезде Меншикова в Березов, о его пребывании там не сохранилось никаких документов. Известно только, что первым делом Александр Данилович собственноручно срубил церковь. Ну, владеть топором он учился вместе с Петром на амстердамских верфях и в Англии. Думал ли он тогда, в те звездные для себя годы, зачем и при каких обстоятельствах понадобится ему плотницкое искусство? Так или иначе церковь была срублена, и она, пожалуй, является единственным временным документом. Дело в том, что церковь освящена во имя Рождества Богородицы, а праздник этот бывает по старому стилю 8 сентября, а по новому, естественно,— 21-го. (Кстати сказать, это день Куликовской битвы.) Теперь спрашивается, почему — во имя Рождества Богородицы? Почему не во

имя Петра и Павла (в память своего царя), почему не во имя святого Александра Невского — своего святого покровителя? А уж если речь о Богородице, то мало ли бывает других «богородичных» церквей: Успенская, Покровская, Введенская, Казанская, Тихвинская, Знаменская, Владимирская, Всех скорбящих радости... Ответ может быть только один: церковь подоспела и была освящена в этот день. Либо заложена была в этот день. Но более вероятно первое предположение. Так или иначе, но 21 сентября Меншиков был в Березове. Около этой церкви спустя 14 месяцев Меншиков и был похоронен.

По извечной русской привычке ставить церкви на возвышенном месте Меншиков срубил церковь на высоком обрывистом берегу Сосьвы. Никто, как видно, не успел сказать ему, что река постоянно подмывает этот берег. С годами, с десятилетиями река подмыла берег настолько, что все «меншиковские» места (а и дом его стоял где-то тут поблизости) оказались размытыми и обрушились.

Когда мы стояли тут на высоте, над рекой Сосьвой, среди старых редких сосен, кто-то из местных жителей рассказал нам, что в тридцатые годы (нашего уж века) строили на берегу Сосьвы ледник (вроде большого погреба) для рыбы и под толстым слоем песка нашли плиту с могилы фельдмаршала и Светлейшего князя, одного из интереснейших персонажей русской истории.

— Где же эта плита?! — словно хватаясь за соломинку, воскликнул кто-то из нас.

— Кто-е знает... Нету... А была плита, хорошо помню. Мраморная и все на ней написано: кто, когда.

— Отставили бы в сторонку. Разве трудно? Ведь это же историческая ценность, реликвия.

— Ледник тогда строили. А про плиты разные и не думали. Валялась она на берегу, а потом куда-то делась. Теперь уж не найти. Потеряна навсегда.

И ведь когда же это было — в тридцатые годы нашего века!

Современный Березов, небольшой город (скорее, поселок), райцентр не имеет своего какого-либо лица. Он ушел от старой сибирско-бревенчатой, купеческой архитектуры и не пришел ни к каким новейшим архитектурным достижениям. Уж если серые коробки («Черемушки») более или менее одинаковы во всех без исключений наших городах от Москвы до самых до окраин, то до Березова не докатилась даже и эта волна «Черемушек». Секретарь райкома, спокойная, миловидная, молодая еще женщина, несколько раз обратила наше внимание на бетонированную узкую дорожку от проезжей части улицы до здания райкома КПСС, и была эта дорожка в ее представлении большим строительным достижением города. По этой мелочи можно судить о размахе градостроительства в захолустном Березове. Он захолустен еще и потому, что хотя и райцентр, но все же столицей Ханты-Мансийского национального округа является город Ханты-Мансийск. Так что все «Черемушки» нужно искать там, в Ханты-Мансийске.

Однако Ханты-Мансийск нам был не нужен. Нам выделили катер, нам дали сопровождающего, инструктора райкома, молодого человека в коричневом кожаном пальто (кажется, его звали

Сашей) и мы поплыли по Сосьве-реке на родину Ювана в село.

Да, поплыли мы по реке Сосьве, впадающей где-то там вдали в реку Обь. Сосьва — река вогулов, река манси, ну, как, скажем, Дон был когда-то казачьей рекой, а Рейн — немецкой, а Висла — польской, а Селенга — бурятской, а Днепр — украинской, хотя и зачинается в Белоруссии. «Чуден Днепр при тихой погоде». Масштабы, конечно, разные. По таежным дебрям на берегах Сосьвы обитает, как мы уже знаем, около 7000 манси, однако без Сосьвы они никогда не мыслили своего существования.

— Вначале была вода,— говорит Юван, в то время как медленно идут нам навстречу лесистые (но уже и сильно прореженные) берега.— Нет, наверное, народа, у которого вода не считалась бы матерью всего живого, очистительной и целебной силой. Нет воды, нет и жизни. Наши рыбаки обязательно отдавали часть улова водяному царю. Рыбы не будет — манси не будет, говорили мои предки. С последней рыбиной умрет и последний человек.

— Так вот она, твоя Сосьва. Я только и знаю о ней, потому что сосьвинская селедка. А о сосьвинской селедке только потому, что ты меня ею угощал. Приедем в село, наверное, достанем этой селедки, в сельпо не бывает?

— Ты что?! Мне рассказали, как недавно в Москву прилетал престарелый Гарриман, который был американским послом в СССР во время войны. Ну, приняли его соответствующим образом. Правительственные банкеты. И вдруг он спрашивает: «А скажите... вот, когда я был здесь послом... приходилось... Иосиф Виссарионович умел уго-

стить... и вот была такая небольшая рыбка... Нельзя ли снова попробовать?.. Ничего вкуснее не ел...» Подняли архивы, стали смотреть накладную документацию: что поступало, из чего состояло меню. Оказалось, что Гарриман имел в виду сосьвинскую селедку.

Вообще-то говоря, это никакая не селедка, а разновидность сига, но только очень маленького размера, короче столового ножа. Такая уж порода. Но свой размер она оплачивает необыкновенной нежностью и тонкостью вкуса. Недаром же Гарриман запомнил ее с времен войны. Ведь мало ли рыбы водилось и ловилось в Сосьве, и все — деликатесные рыбы: муксун, сырок (нелядь), нельма, стерлядь, осетр... Но именем реки называется только эта вот маленькая рыбешка.

— Почему же скудеем? Совсем перестали ловиться все эти рыбы?

Быть богатым не значит быть расточительным. Из кладовой природы надо бы брать столько, чтобы она не скудела. А у нас на протяжении десятилетий один только лозунг: давай, давай, давай! Черпаем пригоршнями, торопливо, как будто дорвались до чужих сокровищ, и задача — как можно больше и как можно скорее нахватать. Половина сыплется мимо кармана.

Это не только рыбы касается. А с лесом разве не так? Руби, вали, выполняй план. А то, что третья часть древесины остается невывезенной, а также в виде верхушек, пней, сучьев, а также в виде топляка в сплавных реках, это — пустяки. Много всего. Что-нибудь да останется! А нефть? Вся Западная Сибирь искорежена, изрыта, истерзана торопливыми нефтепромыслами. Тоже половина мимо кармана сыплется. Если бы так было

где-нибудь... там у них... в Африке... Наши газеты писали бы, что это хищническое отношение к природным богатствам[1].

Кроме того, одно делаем, о другом не думаем. Прокладывая трубопроводы, так ведь лень (или долго, или дорого) их в землю упрятать. Через Сосьву проложили по дну реки. И оказалось, что эти трубы — неодолимое препятствие для сосьвинской селедки, для этой деликатесной рыбки. Не может она эти трубы преодолеть и не попадает в верховья Сосьвы, где у нее были свои зимовальные ямы. Она вынуждена идти в приток Ляпин, а там веками зимуют другие рыбы... Тот же трубопровод на суше провели над землей. Лесные звери теперь не могут совершать естественную и необходимую миграцию из одной части тайги или тундры в другую, труба не пускает. В частности — олени...

Уж не говорим, что в Оби, куда впадает наша Сосьва, вода испорчена. Да и в Иртыше тоже. 25 000 000 кубометров промышленных стоков в сутки, вот сколько принимает в себя чистейшая и светлейшая некогда река Обь. Томь совсем перестала быть промысловой рыбной рекой, а в Оби, скажем, нельма сократилась за последние годы в десять раз.

---

[1] Разработки нефти в Западной Сибири, в Тюменской области (а Ханты-Мансийский округ входит как раз в Тюменскую область) имеет и еще одну характерную особенность. Там на глубине 70 см начинается так называемая «вечная мерзлота» — явление, не до конца еще разгаданное. Тяжелая современная техника: танкоподобные вездеходы, бульдозеры, трелевочные трактора легко разрушают наружный покров земли, прикрывающий вечную мерзлоту, она начинает таять, земля покрывается незаживающими язвами, хлябями, промоинами, трясинами, короче говоря, грязью.

— Ну хорошо, нельма, нельма... Перечислил бы мне и еще породы рыб: муксун, сырок, стерлядь, осетр. Та же сосьвинская селедка. Но почему же ловят их здесь, пусть и не так много[1], как прежде, но почему же мы их, скажем, в Березове, в магазинах или на базаре не видели? Секретарь райкома, конечно, угостила нас нельмой, а — население, а народ? Ловят, ловят, а куда же вся эта рыба девается, в какую прорву? И как можно население, веками кормившееся от этой реки Сосьвы, потчевать теперь только мороженым хеком да килькой в томате? На этот вопрос, Юван, можешь не отвечать. Я и сам знаю. Однажды была беседа в узбекском ЦК с московскими литераторами. Работник ЦК, как бы отчитываясь, говорил: «Мы ежегодно отгружаем вам в Москву 7 000 000 каракулевых шкурок...»

— Кому это вам? — не выдержал и «вякнул» один литератор.— Я лично не видел в Москве ни одной каракулевой шкурки...

— Они идут на мощь государства,— уточнил работник ЦК.

— А мощь государству зачем нужна? Чтобы сохранить эту систему выкачивания из земли и народа нефти, газа, всевозможных руд, пушнины, ценной рыбы и всего, всего, чем богата (чем была богата) наша земля? Так ведь получается замкнутый круг.

Теперь возьми в соображение другое. Я не знаю, сколько государство платит узбекам за каракулевую шкурку, но уверен, что не столько, сколько она стоит на самом деле. Величие этих двух цен

---

[1] По некоторым данным, рыбхоз вылавливает около 4000 центнеров рыбы особо ценных пород.

провоцирует (и всегда будет провоцировать) всяческие злоупотребления. В самом деле: если государство дает за шкурку узбеку 7 рублей, а узбек знает, что она стоит 70, а шкурок этих семь миллионов в год... А ведь чего бы проще: вырастил узбек каракулевого ягненка, шкурку продал по ее реальной цене. Зачем же и чем же тут можно злоупотреблять? Да вот недавно, перед этой поездкой я заглянул в один документ... Там написано о вашем Ханты-Мансийском округе.

«За счет рационального освоения угодий (охотники) сдают (заметьте это словечко — **сдают**) ежегодно по 200 белок, 25—30 соболей и куниц, более ста штук ондатры, 200—500 штук боровой и водоплавающей дичи».

Это то, что каждый охотник повез бы в прошлом на Ирбитскую ярмарку. Но теперь он **сдает** свою добычу, стараясь выполнить годовой план. А годовой план ему спущен в рублях в 1200 рублей. Значит — 200 белок, 30 соболей и куниц, 100 ондатр государство оценивает при расчете с охотником в 1200 рублей! Попробуйте купить у государства хотя бы одного соболя, не говоря уж о 30 соболях и куницах, да еще 200 белках, да еще 100 ондатрах, да еще 500 штук боровой и водоплавающей дичи.

Значит, когда говорят, что повысилась техническая оснащенность охотничьего и рыболовного хозяйства, это вовсе не означает, что охотники и рыболовы манси имеют теперь больше соболей или нельмы, но что государство их руками все больше и больше вычерпывает из их лесов и рек. А сами они... Ну, что же сами... Не в соболях, конечно, ходят, в стеганках и треухах из искусственного меха. Ну мотоциклы молодые парни

заводят, магнитофоны с кассетами, джинсы — как и везде. А если манси, живущий на этой земле потомственно, из поколения в поколение, добудет соболя или нельму и не сдаст ее государству, то это уж будет браконьерство и карается оно по всей строгости законов, вплоть до тюрьмы. Это, впрочем, касается не только реки Сосьвы и народа манси. Это — на любой промысловой реке. Окуньков, плотвичек, ершей — лови, но не вздумай поймать осетра или семгу. Да ведь предки этих людей, будь то на Енисее, Лене, Печоре, Волге или на Байкале, где омуль, они и поселились-то около воды только для того, чтобы жить рекой, ее дарами, и всем хватало. И у местного населения рыба была (местного, скажем, печорского засола), и на всех базарах и ярмарках, и во всех рыбных лавках по необъятной империи, и во всех трактирах и ресторанах. Эта стерляжья уха, эта осетрина в рассоле, эти балыки, эта икра многих видов (паюсная, зернистая, красная) кадками, бочками, эти горы раков, эта вобла и таранька кулями, эти свежие судаки... Нет, хек замороженный, минтай, ледяная рыба, а уж если «дают» треску, то — очередь.

И вот жили, жили люди на берегу какой-нибудь великой реки (Печоры, Лены, Дона, Волги, Оби, Иртыша, озера Байкал), пользовались дарами природы, и вдруг — стоп. Рыбу ловить не имеешь права. А поймаешь (и если тебя поймают при этом) — тюрьма.

— Да мы тут испокон веков... Мы и делать-то больше ничего не умеем, кроме как рыбу ловить...

— Ну так ловите. В составе Госпромхоза, ловите и сдавайте ее государству. Будете получать

зарплату, а на зарплату будете (на берегу Печоры или Оби) покупать кильку в томатном соусе или рыбные фрикадельки в томате же. Куда же подевались горы российской рыбы и икры? Куда же они деваются? Вспомним формулировку узбека — на мощь государства.

Так что, когда заходит речь о браконьерах и о том, что они будто бы хищники, мне всегда вспоминается изречение одного немецкого профессора-антолога: «Хищник это животное, которое поедает другое животное, которое мы хотели бы съесть сами».

А катерок стучал да стучал, мы плыли и плыли. Плыли мы несколько дней и надо сказать, что питались не килькой в томате. Райком (через рыбхоз) позаботился, и немного малосольной нельмы погрузили на катер. Кто пробовал, тот знает, что это такое, а кто не пробовал, тому все равно не расскажешь. Юван вспоминал:

— Не могу не вспомнить свое первое большое путешествие по этой реке. Давно это было, а словно вчера. Сорок лет прошло, однако... Плыли мы с мамой на легкой лодочке-калданке. День плывешь — ни жилья, ни дымка. Ночь плывешь — тишина, безлюдье. Лишь изредка покажется юрта. На песчаном берегу — лодочка, такая же, как и наша. Под темными разлапистыми кедрами вьется дымок. Мы пристаем к дымку, пьем чай у гостеприимного огня, отдыхаем и снова плывем. Целую неделю плывем из-под Уральских гор до низовьев, целую неделю любуюсь зелеными берегами, сверкающими плесами, полетом уток, гусей, лебедей... Жду не дождусь встречи с людьми, думаю, почему на этих берегах так много птиц и так мало людей?..

Тут как раз что-то отвлекло внимание Ювана, он даже за рукав схватил инструктора Сашу, и они оба стали вглядываться в даль. По их напряженному вглядыванию я думал, они медведя увидели на берегу, ну, не меньше, чем лося. Оказывается, их привлекли две черные точечки на воде вдали, и были эти точечки двумя утками.

— Смотри-ка,— утки,— едва ли не с восхищением говорил Юван.

Вот так раз. На такой-то реке, на таком-то севере две утки — в диковинку. А где же все эти гуси и лебеди?

— Один венгр,— говорил Юван,— напечатал в финском журнале статью «Пропасть между поколениями приобских угров». Там он задал риторический, каверзный вопрос: «Можно ли помочь народу, который сам этого не хочет?» А ему не пришло в голову,— продолжал Юван,— что, может быть, народам Севера нелегко? Севера, из недр которого черпают нефть и газ, топчут землю железными сапогами машин и трубопроводов, изводят из рек рыбу, из тайги зверя, а людей сгоняют в большие селенья, где вместо зверя люди вынуждены охотиться за бутылками.

Тут у нас, на катере, было так: экипаж из трех человек, молодые ребята, в задачу которых входило не только вести катер и приставать, если надо, к берегу, но и заботиться о пропитании гостей. Забота эта состояла не в добывании провианта (все было запасено еще из Березова), но — приготовить (уху, скажем), накрыть в нижнем помещении на стол, позвать нас к столу. Впрочем, главным, что должно было стоять на столе, распоряжался сам Юван, не доверяя экипажу, не столько, я полагаю, из экономии, сколько из пре-

досторожности, чтобы потом ненароком не сели на мель.

Рыбу (нельму и муксуна) нарезали водники. Рыба была нашей главной, чтобы не сказать единственной, едой. Маринованные помидоры в большой банке шли на закуску, чтобы, сразу прокусив помидор или предварительно надколов его вилкой, смыть во рту обжигающую крепость спирта.

Саша-инструктор (вроде комиссара при командующем Юване) держался, в своем коричневом кожаном пальто, скромно, с достоинством. Ведь главный наказ ему был: чтобы все было в порядке, без разных происшествий и «ЧП». У нас все было в порядке. Что касается венгерского профессора Михая Варги, впервые оказавшегося вдалеке от Ленинграда и Москвы (и в каком далеке!), то с самого начала в глазах этого тихого, тишайшего, я бы сказал, человека, мягкого, деликатного интеллигента, в его голубых, но как бы немного подсветленных водичкой глазах застыло недоуменное изумление, которое они (глаза) так и сохраняли во все время поездки. Это недоуменное изумление касалось всего — и никогда не виданных им северных пейзажей, и наших эколого-экономическо-этнографических разговоров, и необъятных пространств Севера, и стаканов с прозрачной жидкостью, неторопливое опрокидывание которых членами экипажа он сопровождал вот именно с недоуменным изумлением. Мы с Юваном пили скромнее, Саша-инструктор еще скромнее, а сам Варга на западный образец отпивал небольшими глоточками. По крайней мере в первый день нашего плавания. Потом он, кажется, понял, что это не тот напиток, который смакуют

глоточками, но что лучше решиться и опрокинуть.

(Не могу не вспомнить тут еще раз, как в родном моем селе, когда приехали в гости чешский поэт Донат Шайнер с женой Зденой, Анна Ивановна почти с испугом наблюдала за Зденой, отпивающей маленькими глоточками, и, не выдержав, в конце концов с чисто русским деревенским сердоболием посоветовала:

— Милая, что же ты ее глоточками-то пьешь? Глоточками-то хуже ведь опьянеешь. А ты ее опрокинь, она и польется...)

Одна остановка была у какой-то рыбацкой избушки, где варили уху на костре, но как-то теперь, по прошествии лет, ничего конкретного от этой остановки не осталось, кроме комаров, да еще большого, черного мирного пса, которого комары обволакивали прямо-таки серой попоной, и как я ладонью этих комаров смахивал с его густой, пропыленной шерсти.

Вторая остановка была значительнее.

Показав на лесистый берег, Юван сообщил мне, что тут его настоящая родина, тут было их становище, но потом оно ликвидировалось, а люди переехали в поселок, где сельсовет. Точно так же, как у нас в средней полосе или на вологодско-архангельском севере России исчезли почти все деревеньки, а люди сселились на центральные усадьбы колхозов-совхозов.

— Тут же,— сказал нам Юван,— похоронена моя мать.

Мы причалили к берегу, прошли по зыбучему мокрому песку, миновали какое-то болотце, мелколесье и очутились в перепутанном ельнике. Ничто уж не напоминало, что некогда здесь была де-

ревня, пусть хоть и называемая стойбищем. Но Юван эти места знал, и вскоре мы среди частого мелкого ельника обнаружили продолговатые возвышения, уже поглощенные, можно сказать, тайгой и равнодушной природой. Это были могилы. Бывшие могилы. Юван непостижимым для нас образом нашел засыпанное иглами, листьями, сухими сучьями, еловыми шишками возвышеньице, бывшее могилой его матери. Оглядевшись вокруг и особенно внимательно оглядев родную могилу, он сокрушенно заметил:

— Да... Ни одной бутылки. Совсем забыли люди это место.

Оказывается, количество пустых бутылок на могиле,— это своего рода знак и престиж. Это значит, родственники, родные помнят покойника и навещают его. Много бутылок — хорошая, крепкая память о покойнике.

Мы оставили Ювана с матерью наедине, и он долго о чем-то с ней разговаривал. Я тем временем, бродя на некотором отдалении, подобрал тут, в глухом ельнике,— весло! С ним я и вышел опять к Ювану.

— Ты где взял? — бросился к веслу Юван.

— Да вот, шагах в двадцати подобрал, валялось.

— Ты знаешь ли, что это такое?.. Да это же... Это же... ритуальное весло! Клали на могилу покойника, чтобы ему плавать в лодке на том свете. Это же этнографическая ценность...

Я передал весло Ювану. По-моему, оно и сейчас стоит в его ленинградской квартире.

Между тем показался высокий обрывистый берег, откос, а на нем — населенный пункт. Всего поселения не было видно нам снизу, с катера, с

уровня реки. Мы видели только самые ближние к реке, к откосу дома и деревья, но можно было предположить, что на плоскости высокого берега располагается большое село. О размерах его можно было судить хотя бы по длине, по протяженности вдоль берега цепочки домов и деревьев. Да, это и было село Ванзетур, которое Юван считает теперь своей родиной, село, вобравшее, втянувшее в себя, всосавшее в себя многие разрозненные мелкие становища из окрестной тайги, с обоих берегов Сосьвы. Многочисленные постройки этого села по своему характеру, облику четко делились на два типа. К первому (а фактически, ко второму) типу относились современные, так называемые финские домики, сравнительно новые, желтовато-светлые, под шифером, иногда с палисадничками перед окнами, с подсобными сарайчиками, с мотоциклом возле крыльца, но без садов, как это было бы в средней России, без деревьев вдоль улицы, ну, там, без тополей, ветел, берез. Вообще я давно заметил, еще во время первых поездок по стране, что в северных, таежных, полутаежных местах (ну, скажем, в Коми) как-то не принято сажать деревья возле домов. Это можно понять. Вокруг тайга и жизнь оседлого человека (коли уж он осел) проходит в противостоянии этому лесу, в борьбе с ним, в отвоевывании у него земли под посевы, под земледельческие нужды. Это все равно, как если бы люди, отвоевывая при помощи орошения землю у песчаной пустыни, заводили около своих жилищ искусственные барханчики.

Сюда же, к новым постройкам, нужно отнести и здание сельского магазина, и домик под красным флагом — сельсовет, и продолговатое здание клуба (где потом мы устроим литературную

встречу с местными жителями), и совсем уже современное, я бы даже сказал, ультрасовременное с большими площадями стекла здание школы, построенное и подаренное этому селу шефами-нефтяниками.

Ко второму (а фактически, к первому) типу домов... Ну тут нельзя говорить про тип, потому что тут нет никакого типа. Это были довольно уж старые, вот именно не типовые, разнообразные продолговатые, приземистые жилища с небольшими окошками, потемневшие уже от времени, как бы вросшие в землю (а оказалось, что так были задуманы), иногда на одну семью, иногда напоминающие бараки, но только в миниатюрном исполнении. Слово «барак» у нас сочетается с понятием государственной постройки, созданной для заселения ее (для перенаселения ее, для напичкования ее) людьми где-нибудь на стройках, нефтеразработках, лесозаготовках (не будем продолжать), и ничего это слово не вызывает у нас в душе, кроме смертельной тоски. Ну, а здесь — маленькие, как бы семейные (на две-три семьи), продолговатые, приземистые домики. Бараки, как видно, но только построенные своими руками и для себя. И что удивительно, возле этих домов — деревья. Даже — черемухи! Я тотчас обратился за разъяснением этого феномена к Ювану и тотчас же получил ответ.

— Это место великой и жестокой трагедии.— объяснил мне Юван.— Сюда, на этот пустынный тогда берег Сосьвы, привезли и высадили тысячи переселенцев. Их оставили здесь на полное вымирание. Женщин, детей, стариков... Но некоторые все-таки выжили.

Я уж и забыл как-то, что спецпереселенцами

называли в 1929 году крестьян, вывозимых из всех российских земель, под названием кулаков, куда-то туда, не то в Сибирь, не то в тундру, куда-то, одним словом, далеко-далеко...

Тут я должен свой очерк дополнить одним документом. Недавно, открыв журнал «Дон» (№ 1 за 1987 год), я начал читать роман Бориса Можаева «Мужики и бабы», как раз об этом горьком и кровавом периоде нашей истории (впрочем, слово «кровавый», может быть, не совсем подходит к случаю. Вспоминается реплика одного героического командира подводной лодки, который в чем-то личном проштрафился.

— Кровью смоешь свою вину,— сказали ему.

— Не удастся,— спокойно ответил командир подлодки,— мы, подводники, гибнем бескровно, мы просто тонем и потом задыхаемся.)

Итак, я начал читать роман Б. Можаева, а ему было предпослано предисловие академика ВАСХНИЛа В. А. Тихонова. Выписываем из него серединную часть. (Дон. 1987. № 1.)

...Раскрепощенные интересы крестьянина подталкивали его к развитию хозяйственной предприимчивости, к расширению масштабов и структуры своего хозяйства. «Средний» крестьянин, работая на земле... начинает рационализировать производство. В его дворах появляются первые машины, возникают так называемые культурные хозяйства. Расширяется круг деятельности крестьянина. Наряду с земледелием «средний» крестьянин занимается кто первичной обработкой сырья, кто — торговлей, кто — лесозаготовкой и лесообраткой, «отходными» промыслами. Словом, идет потихоньку тот закономерный процесс, который составлял объективную основу подготовки к посте-

пенной индустриализации земледелия и соединение его с разнообразными видами неземледельческих и «послеземледельческих» работ.

Однако тех, кто управлял тогда государством, не устраивало такое положение вещей. Они... расширительно трактуя понятие «кулак», распространили его на тех, кто, получив землю от государства, хозяйствовал на ней и получал высокие экономические результаты только за счет своей старательности, умелости и работоспособности. Теоретически превратив среднего крестьянина в кулака, они упорно настаивали на применении к нему репрессивных мер... Речь фактически шла о хлебе. Более 80 процентов валового урожая, три четверти всего товарного хлеба в те времена... давал уже середняк... В выступлениях И. В. Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он и не считал нужным вуалировать: стране нужен хлеб; этот хлеб есть — у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства пока нет. Чтобы их иметь, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб. Замкнутый круг! И надо разорвать его. Как? Мы не можем за бесценок (бесплатно.— *В. С.*) взять хлеб у крестьянина (т. е. ограбить его.— *В. С.*), но можем взять его у колхоза. Значит, надо немедля объединить крестьян в колхозы. По отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие законы, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака...

...Коллективизацию, то есть коренное социальное переустройство села, ломающее вековые устои крестьянской жизни, разрушающее веками накоп-

ленные традиции и хозяйственные интересы крестьянина, попытались осуществить за считанные дни... Но нельзя забыть, каких жертв — социальных, психологических, да и человеческих — это стоило. Итак, искали удобный способ отбирать хлеб у крестьян бесплатно, то есть сделать бесплатным их труд. И способ нашли — колхоз! Кому-то еще пришла в голову арифметическая мысль. Крестьяне, возможно, по доброй воле в колхозы не пойдут. И вот начались разверстки. На область: раскулачить и вывезти столько-то семейств. Область разверстывает по районам, районы по деревням. Раскулачили, вывезли. Спускается новая разверстка. Составляются новые списки. Ночами, в прокуренных помещениях (преимущественно это были сельские школы или дома уже вывезенных крестьян) сидят местные активисты и под руководством приезжих «уполномоченных», один из ОГПУ с наганом, в который раз просматривают списки, ищут, против каких фамилий поставить галочку. А галочек надо поставить 5—7. Ставится галочка, и семья уже обречена на разорение, на вывоз, на гибель.

Их грузили на сани (выбрали для этой акции зимние лютые месяцы), везли до ближайшей железнодорожной станции, напихивали в товарные вагоны и сутками везли в Сибирь. Тех, кто оставался жив, выгружали в сибирских и северо-архангельских местах, набивали ими бывшие монастыри, где они дожидались (в Сибири по крайней мере) весны, навигации. Тех, кто оставался жив к этому времени, набивали в ледяные баржи и по ледяной еще воде сплавляли в низовья сибирских рек, в частности Оби. Потом баржи завозили их в притоки Оби, преимущественно в Васюган, и только

там уж, в безлюдной тайге, высаживали на берег, оставляли им несколько топоров, несколько мешков муки, и баржа уходила назад. Выживало, как теперь уже достоверно известно, из ста человек 5—6.

Про Васюган я знал давно, слышал, рассказывали сибиряки, но про Сосьву не слышал. И вот... Так вот куда их, оказывается, завозили, вот где выбрасывали на гибель.

— Ты помнишь, как это было? — спрашиваю я у Ювана.

— Как я могу помнить? Меня тогда еще не было, я ведь с 1937 года. Но рассказывали. Гибли они, как мухи. Начали, кто оставался жив, зарываться в землю. Приходили на наши стойбища скелеты скелетами. Подкармливали их наши, особенно с детишками на руках. До весны коротали в норах, в землянках. Потом, кто выжил, стали строить домишки. Потом с весны начали землю ковырять, видно, даже умирая с голоду, оставили немного картошки или зерна на семена. Появилось у них земледелие. А потом, когда нас самих начали голодом морить, мы уж к ним за пропитаньем ходили. Они подавали нам картошинку... кусочек хлебца... Так вот начиналось наше село на Сосьве.

— А теперь-то они здесь живут?

— Парни в войну все на фронт пошли, остальные постепенно разъехались — кто в город учиться, кто куда... а село вот осталось...

Ходил я по этому селу и думал: если бы существовала единица измерения человеческих страданий (на тонны, на мегатонны), то все равно не хватило бы никакой шкалы измерить человеческие страдания на территории страны в восемнадцато-девятнадцатые годы, в двадцатые годы, в тридца-

тые годы, в военные годы, произошел бы новый всемирный потоп, затопило бы весь земной шар вместе с Эльбрусами, Килиманджарами. Тиф и гражданская война, «расказачение» России и Соловецкие лагеря, повсеместный террор и коллективизация, голод на Украине и в Поволожье 1933 года (более семи миллионов человек), инспирированный, кстати сказать, голод, лагеря тридцатых и сороковых годов... С верхушкой затопило бы Гималаи и сам Эверест. Боже, и ты все видишь?

И конечно, еще одна мысль не оставляла меня. Тогда, когда разверстывали гибель крестьянских семейств по областям, районам и селам, когда, после вывоза в морозные, метельные ночи нескольких семейств из деревни, приходила новая разверстка и сидела тройка в ночной школе над списком деревенских жителей и ломала головы, где бы еще поставить галочку, против какой фамилии, тогда могли поставить галочку и против нашей фамилии: были мы не хуже и не лучше других. Так вот, значит, куда привезли бы нас, если бы довезли живыми, вот где, в каком безлюдном комарином месте окончилась бы жизнь пяти-шестилетнего русского мальчика, окончилась бы в холодных и голодных мучениях на глазах у любящей матери Степаниды Ивановны (или я бегал бы вокруг нее, умершей раньше меня, бегал бы беспомощный или ползал бы, ослабев от голода), вот какое место готовила нам судьба, место, в котором я случайно оказался, приехал в гости к Ювану Шесталову, известному поэту и писателю манси, лауреату Государственной премии, и сам тоже писатель и сам тоже лауреат... И лежат теперь русские и украинские крестьянские кости (Юван говорил, что был специальный завоз сюда украинских

крестьян) в мерзлой, комариной, таежной земле, на берегу Сосьвы, впадающей в Обь... Но за что?!. Теперь, впрочем, уже мало у кого может возникнуть вопрос «За что?». Тогда надо спрашивать, за что люди гибли от тифа в двадцатые годы, за что они гибли на «Соловках», а позже и в других лагерях. За что они гибли от голода (и ели своих детей) в 1933 году, за что лучшая часть российской интеллигенции оказалась в изгнании, в эмиграции, за что, за что, за что? Перечнем вопросов можно исписывать целые страницы. За что, скажем, умер от истощения в сорокалетнем возрасте Блок, за что был поставлен перед жестокой необходимостью смерти Сергей Есенин? Надо теперь задавать уже другой вопрос:

— Ради чего?

Ведь когда энтузиасты махали шашками и трясли наганами да маузерами в начале двадцатых годов, все они махали шашками (и выкрикивали перед эскадронами) «За светлое будущее!». Не может не прийти в голову, что наши дни с очередями в магазинах, с нехваткой продуктов и жилья, с алкоголизмом, с нижайшими урожаями и надоями, с нижайшей производительностью труда и некачественной продукцией, с эпидемией рок-музыки и «видаков», с наркоманией, с абортами школьниц, это и есть ведь то самое светлое будущее, ради которого махалось шашками. Не на тысячу же лет они заглядывали вперед, да и на семьдесят-то едва ли заглядывали. Какие там — семьдесят! Вот кончится гражданская война, и — светлое будущее. Вот вывезем «кулаков» из деревни, и — светлое будущее. Вот выполним пятилетку, и — светлое будущее. Вот разоблачим, расстреляем «врагов народа», и — светлое буду-

щее, вот кончится война, и — светлое будущее, вот произведем перестройку...

В стихах у моего однокурсника Жени Винокурова пенсионер, старый большевик каждое утро с трепетом разворачивает газету, а... «пожара мирового все что-то нет и нет...».

...Около небольшого, опять-таки типа «финского», домика произошла бурная встреча Ювана с родственниками: мачехой и двумя младшими братьями. Мачеха, маленького роста пожилая женщина, всхлипывала, обнимая Ювана (они ведь впервые увиделись после смерти Николая Тимофеевича — Юванова отца, а ее мужа), и я обратил внимание, что они хоть и обнимаются, но не целуются, как это могло бы быть где-нибудь в другом месте России, но по своим каким-то древним обычаям нюхают друг друга. Так, припав к ее плечу, Юван отчетливо, протяжно втягивал воздух ноздрями — нюхал. Таков уж, видно, у них древний обычай.

О парнях я мало что помню теперь, по прошествии лет. Помню, что — парни. Помню, что — мотоциклы у них. Помню, что работают один где-то мотористом, другой, кажется, в рыболовецкой бригаде. Домик Ювановой мачехи стоит в крайнем, ближайшем к реке ряду населенного пункта. Река, высокий, крутой обрыв, зеленая полоса земли (уже над обрывом) и — домики. Против домика (кстати, обнимая и «нюхаясь» с ней, Юван, тоже всхлипывая все время, повторял «оня», «оня»... Я думал, что это ее имя, а оказалось, что так на языке манси называется неродная мать), да, так вот против домика «óни», если перейти зеленую полоску земли, над самым уж обрывом стоит вкопанная в землю скамейка. С нее — неоглядный

вид на реку и заречные дали, на ней-то и сидел последние годы отец Ювана Николай Тимофеевич, бывший бессменный председатель колхоза, сидел и думал...

В сельском клубе (как до этого в Березове) пришлось нам провести литературную встречу с местным населением. Мне приходилось иногда (во время разных там декад или дней литературы) оказываться вместе со своими коллегами перед сельской аудиторией в какой-либо республике с другим языком. «Декада» — мероприятие. Сгонят в местный Дом (Дворец!) культуры все местное население, включая старух и детей, и вот — твоя очередь выступать. Надо что-нибудь говорить, а потом и читать стихи. А между тем говорить и читать приходится, как в аду, при полном ощущении, что аудитория тебя совершенно не понимает, как из-за плохого знания языка, так и по уровню, по степени понимания поэзии, ее законов, не говоря уж о тонкостях. Но говорим и читаем: мероприятие.

Надо сказать, что здесь, в селе манси (в вогульском селении), ничего подобного не случилось. У нас был хороший контакт с аудиторий. Здесь были, вероятно, школьные учителя, сельско-колхозная интеллигенция: агрономы, зоотехники, медики, бухгалтеры, а главным образом, учащиеся старших классов. Надо было сказать им несколько слов о их земляке Юване Шесталове. Что вот, мол, одаренный народ манси, с фольклором, с орнаментами, с игрищами, со своим бытом и со своей психологией, со своими традициями... Но сам народ о себе, о своей душе рассказать другим народам не может. Не выйдет же он на площадь и не начнет хором рассказывать, какая у него душа.

Народ выдвигает из своей гущи отдельных людей, как бы командирует их, уполномочивает рассказывать о себе другим народам и всему белому свету. Тогда появляются мастера, сказители, художники и поэты: Пушкины, Толстые, Суриковы, Есенины... Таким «уполномоченным» от народа манси и является Юван Шесталов...

После «встречи» подходили к нам с нашими книгами, и мы раздавали автографы. Изумленно-недоуменное выражение не сходило с лица тишайшего, безмолвного профессора Будапештского университета Михая Варги.

Но что бы мы ни делали: заезжали к рыбакам и ели там уху, разговаривали с несколькими нефтяниками (крупными руководителями работ), заехавшими на берег Сосьвы за сто двадцать верст на танкообразном вездеходе ради рыбалки, посещали место бывшей вогульской деревеньки и ее кладбище, где лежит мать Ювана, мылись в сибирской бане, посещали сельсовет (не помню уж теперь, зачем), выступали в сельском клубе, осматривали новую школу (а до этого осматривали городок Березов), вели разговоры на экологические, охотничье-хозяйственные, историко-этнографические темы, мы не забывали основной цели нашего приезда — поминок, пятидесятого дня со дня смерти отца Ювана — Николая Тимофеевича. И о том, что должен быть зарезан жеребенок, уже выделенный Ювану местными властями с местного конезавода. И вот, что бы мы ни делали, а инструктор Березовского райкома Саша в коричневом кожаном пальто, приданный нашей группе как главный организатор и осуществитель поездки, все время вел с нами (со мной и профессором Варгой) агитационно-распропагандирующие разговоры. Раз-

говоры эти были сепаратными. Стоило Ювану куда-нибудь отлучиться, отвернуться на пять минут — Саша уж тут как тут. Он искал в нас союзников против Ювана, хотел обратить нас в союзников, и было это сделать очень нетрудно, ибо мы с первых слов соглашались с Сашей и всячески (в отсутствие Ювана) его поддерживали.

Речь шла о том, чтобы не убивать жеребенка. Ну, блажь взбрела в голову Ювану исполнить старинный ритуал. С жертвоприношением. С мазаньем жертвенной кровью углов дома, углов могилы, еще какими-то там подробностями. А потом чтобы и угощать людей жертвенным мясом. Все так. Но неужели нельзя обойтись без кровавой жертвы? На катере есть запас сервелата, малосольной нельмы. Ну... барана можно зарезать. Оня картошки нажарит. Голодные мы, что ли? Жалко ведь жеребенка. Посмотрели бы, какой красавец!

— Да мы уж смотрели. Правда, красавец. В сарае около дома Ювановой мачехи стоит. Светло-гнедой годовалый жеребенок. Породистый, с конезавода. Конечно, жалко. Мы вовсе не против. Нужна нам эта жертва.

— Так поговорите с Юваном...

— Ну уж нет, с ним говорите сами. Он нам этим жеребенком с Москвы все уши прожжужал. Для него в этом ритуале содержится какой-то особенный смысл. Мы ведь только гости. Мы в местные порядки и обычаи вмешиваться не будем. Но поддержать вас, если вы начнете разговор,— поддержим. Действительно, жалко жеребенка.

Мы жили (ночевали) в сельской гостинице, состоящей из одной, правда очень просторной,

комнаты. Там стояло больше десяти коек (узких, железных). Ну, а нас было четверо. Остальные койки оставались свободными. И вот наступил канун, последний вечер перед поминками.

Отступать Саше было уж некуда, и он завел, в конце концов, этот разговор, собравшись с духом за несколько предыдущих дней.

Энциклопедия «Брокгауз и Ефрон», не права, говоря, что последний вогульский бунт относится к XVII столетию. Последний вогульский бунт состоялся 17 октября 1981 года в гостинице села Ванзетур.

Перед тем как нам всем укладываться спать, Саша решился и, не помню с каких уж слов начал, подвел дело к тому, что все же лучше бы жеребенка не убивать. Такой красавец... По сценарию нам с профессором Варгой предстояло вступить в разговор и мягко, тактично тоже попросить Ювана обойтись без кровавой жертвы. Но мы не успели раскрыть рта, не успели произнести ни слова, ничего не успели: Юван взорвался. Написав это слово «взорвался», я не вижу в нем никакого преувеличения, иносказания. Дух деда по матери, профессионального шамана, проснулся в нем. Глаза округлились, волосы на голове растопырились еще больше, он начал выкрикивать, едва ли обдумывая свои слова и едва ли соображая, что кричит. Это кричал не он, через его уста кричал его дед, а может быть точнее,— все его соплеменники. Возможно, он потом, успокоившись, не смог бы повторить то, что он теперь кричал. Надо ли отметить, что изумление и недоумение, все время стоявшее в голубовато-светленьких глазах Михая, достигло в эти минуты своей наибольшей выразительности. Не помню также, стоял ли Юван на месте, вы-

крикивая свои слова, бегал ли он по обширной комнате или, может быть, корчился наподобие настоящего шамана.

— А!!! Одного жеребенка пожалели?! А где все наши бесчисленные лошади? Куда вы дели всех наших лошадей?!! Куда вы дели всех наших коров?! Куда вы дели всю нашу рыбу, наших оленей, наших соболей, наших медведей, наши игрища, наши танцы, наши песни? Где наша нельма? Где наш муксун? Где наша сосьвинская селедка? Где наши осетры? Мы их не видим. Манси питаются килькой в томате! Где наши рябчики и глухари? Где наши гуси и утки? Где наши праздники, где наши ярмарки?.. Все, все ликвидировали и забрали, а теперь единственного жеребенка для единственного поэта манси пожалели?! Мой отец... бессменный председатель колхоза... помянуть нельзя? Это вы, вы сожрали всех наших лошадей, всю нашу рыбу, вы истребили нашего зверя, вы исковеркали нашу землю бульдозерами и экскваторами...

Задача уж теперь состояла не в том, чтобы спасти жеребенка, но чтобы как-нибудь успокоить Ювана. Совместными усилиями нам это, в конце концов, удалось.

Погода (хоть и октябрь) стояла великолепная. Сухо, солнечно, безветренно. Не сказать, чтобы в одном пиджачке, а тем более в рубашке, но легкой куртки было достаточно. При такой-то погоде утром мы, наконец, могли как следует разглядеть жеребенка. Братья Ювана вывели его из сарая и завели в палисадник, то есть в маленький садик перед домом, огороженным штакетником. Мы сразу поняли, зачем его туда завели. Об этом нам сказали не столько два топора, лежащие наготове, а также

и длинные острые ножи, сколько поведение жеребенка. Братья держали его с двух сторон за веревки, каким-то образом укрепленные на его голове, а он вскидывался на дыбы, пронзительно кричал и перебирал высоко в воздухе передними ногами. Можно было бы сказать — отчаянно, панически, смертельно перебирал. Он понимал, что наступили последние мгновения его молодой полнокровной жизни.

Не знаю, как бы мы перенесли предстоящую сцену, вернее, какое бы унесли на всю жизнь впечатление от нее, но тут вышел из дома Юван. Он что-то на своем языке стал сердито говорить братьям, одернул их. Наверное, слова его можно было бы перевести так: «Вы что? Сдурели совсем? На глазах у гостей!» Нам же Юван сказал, уже спокойно и миролюбиво:

— Ну, что. Замечательная погода. Пройдемся вдоль берега Сосьвы.

И мы пошли. А когда возвратились с прогулки, все уже было кончено.

Подробности ритуала я теперь изложить бы не смог. Помню только, что Юван и оня (его мачеха) ходили вокруг избы. Юван с пол-литровой банкой в руке. Она показывала ему, где, в каком месте мазать дом жертвенной кровью, и тогда Юван окунал в банку палец и кровью мазал, помнится, преимущественно порог дома, подоконники и углы. При этом он что-то шептал, а оня ему, еще более тихим шепотом, подсказывала, что́ шептать.

Потом все мы (с этой же банкой) пошли на кладбище. Это было уже не заросшее лесом кладбище бывшей Ювановой деревни, где покоится его мать, но обыкновенное, современное, советское, я бы сказал, кладбище с пирамидками, вымазан-

ными серебряной краской, и со звездочками наверху. Я обратил внимание, что все могилы завалены пустыми бутылками из-под вина либо из-под водки. Юван понял мое недоумение и пояснил:

— Нарочно не убирают. По бутылкам видно, что покойник не забыт, что могила навещается родными. Своего рода — престиж, эти пустые бутылки. А если нет их на могиле, значит, нерадивые родственники.

У Николая Тимофеевича на могиле было еще не очень много пустой посуды. Оно и понятно: всего лишь пятидесятый день с его смерти. Впрочем, после нашего посещенья могилы бутылок прибавилось...

Россия. Нечерноземная полоса[1]

При разных обстоятельствах часто спрашивают у меня: «А что же вы о деревне-то совсем не хотите писать? А писали ведь: «Капля росы», «Владимирские проселки». Рассказы».

— Не хочу,— отвечаю я.— Во-первых, многого я не понимаю из того, что происходит в деревне. Во-вторых, у меня нет никаких конструктивных рекомендаций, рецептов, а если они есть, то, боюсь, неправильно будут поняты и восприняты, вернее сказать, совсем не будут восприняты.

Однажды, вспоминаю, разговорились с Александром Юрьевичем Кривицким. Он журналист военный, международник, и вообще человек сугубо городской, а вдруг заговорил о деревне.

— Вот ты бываешь в деревне, родился и вырос там. Скажи, что бы ты сделал, чтобы исправить положение в сельском хозяйстве?

— На каком уровне?

— Ну... На уровне, скажем, министра сельского хозяйства.

— Не пошевелил бы и пальцем. Ничего сделать нельзя.

— Ну... а если бы ты был богом?

— На месте бога я начал бы, возможно, не с сельского хозяйства.

Посмеялись тогда. Кривицкий оценил шутку и понял, что я при помощи ее просто ушел от серьезного разговора.

---

[1] Неопубликованный этюд из книги «Продолжение времени, или Письма из разных мест». См. журнал «Наш современник» № 1 за 1982 г.

3—1397

Да и лучше бы от него уйти. Не так давно стоило мне в рассказе «Бедствие с голубями» упомянуть про грязные дороги в наших местах, про грязный коровник и про теляток, подыхающих с голоду в летние, травяные, цветочные, медоносные и молоконосные месяцы, как «Литературная газета» незамедлительно бабахнула по рассказу при помощи одного критика. Во Владимире в определенных кругах началось ликование. Областная газета дала залп из трех статей все по той же цели. Смысл у трех статей был один: «Да как ему не стыдно? Где это он увидел грязные дороги и коровники и голодных телят?» Но тут подоспел Аркадий Ваксберг с судебным очерком «Вешние воды» (в той же «Литературной газете»!), где говорилось, что в одном совхозе той же Владимирской области сдохло с голоду 380 коров. Рассказ критиковать можно, это, так сказать, беллетристика, а против факта не попрешь.

Или вот другой случай. В книге «Трава» задел я вопрос о наших лугах и пастбищах. Тогда я ходил в Министерство сельского хозяйства, оснащался цифрами, и схема главы о лугах и пастбищах была такова. В Российской Федерации (не считая, значит, украинских, белорусских и молдавских раздолий, высокогорных пастбищных угодий Кавказа и Тянь-Шаня) — 96 миллионов гектаров лугов и пастбищ[1]. Но так как все наши луга и пастбища сильно запущены, закочкованы, заросли мелким кустарником, то урожайность травы на них чрезвычайно высока. Ну, скажем, в то время как

---

[1] Цифры относятся ко времени написания «Травы», т. е. к 1970 году. Возможно, все они изменились в ту или другую сторону.

Голландия берет с одного гектара луга 17 000 условных кормовых единиц, у нас получается в среднем 600 кормовых единиц. Эту цифру мне дали тоже в Министерстве сельского хозяйства.

Облагораживать луга — дело очень кропотливое, трудоемкое, заниматься этим некогда («давай, давай»), да и некому, мало в деревне полноценно-трудоспособных людей. А трава нужна, скотину худо ли, бедно ли, кормить надо. Где же выход? Он есть, и очень простой: сеять траву на пахотных землях, на полях, где должны бы расти пшеница, гречиха, лен, ячмень, овес, горох, просо и все остальное, в чем так нуждается наша страна. И вот цифра: в РСФСР (опять же в 1970 году) было занято под траву 36 миллионов гектаров пахотных земель.

Журнал «Наука и жизнь», публиковавший мою «Траву», эту главу опубликовать не смог, но взялась за нее уже упоминаемая «Литературная газета». Условие поставили мне такое: на этой же странице рядом со статьей (теперь глава выглядела как статья) будет напечатан как бы ответ на нее заместителя министра сельского хозяйства Петра Ивановича Морозова. Ну, он доказывал, помнится, что сеять траву на пахотных землях очень даже выгодно, и приводил много цифр. Но все же, в конце концов, получалось (парадоксально), что выгодно держать запущенными и худородными безграничные луга — 96 миллионов гектаров. Однажды Петр Иванович при случайной встрече спросил даже, что же де я не отвечаю на его статью, не продолжаю разговора?

— Или нечем крыть против моих цифр? — спросил он, победоносно смеясь.

— Цифр у вас действительно много,— ответил

я,— и все прекрасные цифры. Жаль вот только, по-прежнему не хватает ни молока, ни мяса. Да и с хлебом, кажется, не сверхблестяще обстоят дела... В духе этой моей фразы я мог бы ответить вам и через газету. Но надо спросить у нее, захочет ли она в таком-то духе...

Да, вот так. Не собирался я обращаться к деревенской, вернее, к сельскохозяйственной теме, но тут из уважаемого и даже любимого мною журнала, из «Нашего современника», пришло письмо. Оно пришло, как видно из текста, не одному мне, но и мне тоже. А в письме конкретные вопросы... Впрочем, вот оно, это письмо, его полный текст.

«Редакция «Нашего современника» предполагает десятую книгу журнала за этот год, по традиции, посвятить Нечерноземью, в котором, на наш взгляд, сплелись в единый узел все наиболее сложные проблемы, присущие нашей деревне на современном этапе ее развития.

«Гвоздем» номера на сей раз нам бы хотелось сделать подборку ответов на анкету писателей, пишущих о деревне и хорошо знающих ее.

Просим Вас ответить на предлагаемые ниже вопросы (не обязательно на все) и прислать рукопись в редакцию не позднее 15 мая с. г.

1. Передовые хозяйства есть в каждом районе (области). В чем, на Ваш взгляд, секрет их успехов? Почему достижения передовиков продолжают оставаться мечтой для большинства остальных колхозов (совхозов)?

2. Какие сдвиги в психологии сегодняшних крестьян (колхозников, рабочих совхозов) Вас радуют и какие огорчают?

3. Нужно ли в современных укрупненных хозяй-

ствах воспитывать (культивировать) в душе каждого колхозника (рабочего совхоза, сельского интеллигента) чувство хозяина? Есть ли у них возможность практически участвовать в управлении хозяйством, влиять на принятие решений?

4. Закрепление молодежи в селе. Закономерна ли такая постановка вопроса? Нужно ли организовывать этот процесс? Или он должен развиваться естественно, в соответствии с уровнем экономического и социального развития хозяйств?

5. Социальные, нравственные и психологические мотивы пьянства — весьма распространенного зла в современной деревне.

6. Какова, на Ваш взгляд, роль руководителей всех подразделений в современных хозяйствах, как правило, укрупненных и высокомеханизированных?»

Вот почему я и говорю про это свое письмо: неизвестно откуда, но точно известно кому — редакции журнала «Наш современник».

Дорогие друзья! Вы оговариваете, что не обязательно отвечать на все вопросы, но и я оговорюсь тоже. Может быть, иногда разговор будет выходить за пределы вашего вопросника. Хотя, надо сказать, что вопросник практически дает возможность затронуть любой, как говорится, аспект состояния нашей деревни... В общем, главное — начать разговор, а там уж что-нибудь да получится. И начну-ка я с прямого ответа на ваш прямой вопрос о передовых хозяйствах, которые, как правильно вы говорите, есть в каждой области.

Но и они, передовые хозяйства, тоже разные. Одно дело, когда из десятка соревнующихся хозяйств (как же без соревнования!) одно хозяйство немножечко выходит вперед по всем или по глав-

ным показателям и ему присуждается переходящее Красное знамя. Это хозяйство такое же, как и все остальные, но все же вышло вперед (должен же кто-нибудь выйти вперед), и его зачисляют в передовые. На будущий год оно может потерять переходящее Красное знамя, и тогда это знамя получит соседний колхоз — совхоз.

Но вы спрашиваете (зря в корень) о тех передовых, достижения которых, как вы правильно сформулировали, остаются мечтой для большинства остальных колхозов и совхозов. Об этом следует поговорить подробнее.

Вспоминаю свою «огоньковскую» молодость, когда после окончания Литературного института я начиная с 1951 года лет семь проработал в «Огоньке» разъездным очеркистом. Ну, «Огонек», как известно,— журнал достижений, особенно глубоких проблем он не ставит, но показывает все наиболее передовое и красивое в нашей действительности. Значит, и мы, корреспонденты, журналисты, охотились за всем передовым и доблестным и знали, как говорится, что и где у нас в стране лежит. Так вот, вспоминаю, что передовые колхозы и совхозы того времени мы знали наизусть, знали по именам их председателей. Мы считали такие хозяйства по пальцам, и пальцев на двух руках хватало, чтобы их сосчитать. Теперь я многое забыл, надо ворошить подшивки и архивы, но помню, что в Кировской области был колхоз «Красный Октябрь», где председательствовал Прозоров, в Белоруссии был известный председатель Орловский, во Владимирской области — Аким Горшков, под Одессой... кажется, Буркацкая была передовым председателем. Одним словом, это были единицы на огромнейшую страну.

Сам я однажды (в 1954 году) ездил в Вологодскую область писать очерк о знаменитой свинарке Люсковой, депутате Верховного Совета, Герое Социалистического Труда, чуть ли не почетном академике. Но то, что я увидел на месте, потрясло меня, и я вместо того, чтобы еще один раз восхвалить и воспеть прославленную труженицу села, написал очерк «На одинаковых землях». Конечно, годом раньше этот очерк едва ли был бы напечатан, но уже начинались новые веяния и очерк опубликовали. И, помнится, Мариэтта Шагинян, прочитав очерк, примчалась в «Огонек» и высказывала всяческие похвалы, не автору (она совсем его не знала), но журналу. Что вот, мол, можно, оказывается, и на страницах «Огонька» поднять серьезную тему.

А тема была проста. Я действительно увидел образцовое свиноводческое хозяйство. Там, в вологодской глуши, без белого халата меня даже и не пустили в свинарник. Девушки, все как одна в белых халатах, суетились там — не то практикантки, не то лаборантки, а между тем это был крохотный островок, оазис в океане... не знаю уж чего, но то, что в океане,— факт. Поскольку меня не пустили в свинарник без белого халата, то я и пошел по другим фермам этого же колхоза, а потом я пошел по фермам соседних колхозов. Я увидел дырявые, полураскрытые сараи, в которых коровы стояли по колена в жидкой грязи, увидел тощих телят, облепленных мухами. И все это тут же, рядом, на таких же, вот именно одинаковых землях.

«Да что же это за гений такой,— думалось мне тогда,— эта свинарка Люскова, что сумела среди этакой черноты и захудалости создать свой белоснежный оазис?»

Но тогда же я и догадался, что вовсе она никакой не герой. Она, конечно, талантливая хозяйка, прилежная работница, как были талантливы, прилежны и работящи большинство русских крестьян. И вот, когда решили опереться, оперлись именно на нее, как на талантливую хозяйку. Но хозяйство это создавалось сверху, создавалось оно как образец, как пример. Впрочем, не исключено, что была замечена и использована первоначальная инициатива Люсковой. Не исключено и другое: сначала появилась идея создать образцовое хозяйство, а потом уж стали искать соответствующую свинарку, на которую можно было бы опереться. Так или иначе, самой Люсковой создать такое хозяйство было бы невозможно. Ибо, если возможно, то почему оно возникло только одно на всю область и даже на всю страну?

Но если бы даже допустить, что выход хозяйства из ряда вон зависит исключительно и единственно от руководителя, то все же не следует ли задуматься над системой хозяйствования, где заметных результатов могут добиваться только исключительные люди, только гении своего рода.

Да и гению все равно было бы трудно и даже невозможно. Дело в том, что и председатель колхоза и директор совхоза ограничены в своих возможностях, я бы даже сказал, разносторонне ограничены. Председатель не может самостоятельно сеять, что он хочет. Он сеет то, что ему скажут. Он не может сам устанавливать сроки сева, они спускаются сверху. Если бы у колхоза завелись лишние денежки для усовершенствования своего хозяйства, он все равно ничего не может на них купить свободным образом: ни трактора, ни комбайна, ни автомобиля, ни комбикормов, ни удобрений,

ни запчастей — все это разверстывается областью. Жди, когда тебе выделят машину или комбикорма, то есть «дадут», и бери сколько дадут, а деньги здесь уже не имеют решающего значения, денег у колхоза может быть на пять грузовых автомобилей и на двести тонн комбикормов, а «дадут» ему все равно один автомобиль и две тонны, во всяком случае не столько, сколько он просит. Он ограничен в своих возможностях.

Кое-какая инициатива доступна, конечно, и председателю колхоза. Например, наш председатель в зиму 1979/80 года по личной инициативе и на колхозные деньги послал людей в Омскую область, и они купили там и отгрузили несколько вагонов соломы, которой и кормили коров, и таким образом коровы были спасены. (Мы сейчас не будем делать упора на самый факт: ездить за соломой из Владимирской области за Урал, в Сибирь!)

Эта-то некоторая инициатива, которой обладает председатель, если он действительно бывал инициативен, а не задавлен, не затюркан только выполнением планов и требований, иногда приводила к исключительным явлениям. Исключения могут быть в каждом деле. Как крайние случаи можно взять два примера, два хозяйства в нашей Владимирской области.

Михаил Григорьевич Графский, человек действительно талантливый и к тому же с характером, волевой и энергичный, был сначала заместителем председателя облисполкома — должность крупная и ответственная. Потом он ушел на пенсию, но энергия вся оставалась при нем. Некоторое время он томился от безделья, но в конце концов не выдержал и попросил, чтобы ему дали какой-нибудь совхоз. Ему дали обыкновенный, то есть

захудалый совхоз вблизи Владимира. Это было как если бы к паровозу, способному тянуть 50 груженых вагонов, прицепить маленькую тележку. Кроме того, у Графского оставались его авторитет и его хозяйственные и деловые связи. И он знал, где что лежит и как что делается. Входы и выходы. И в облисполкоме все работники, и в сельхозтехнике, и везде были его бывшие подчиненные. Кроме того, паровоз-то паровоз, тележка-то тележкой, но Графский почувствовал, что здесь, на новом месте, он впервые может развернуть свои истинно земледельческие способности, ибо он оказался в непосредственной связи с землей. А организаторские способности и все вышеперечисленные особые условия помогали ему на первых порах избегать тех рамок и ограничений, в которых находился каждый председатель колхоза или директор совхоза.

Масштабность человека и его инициативность тоже имели свое значение. Поскольку с председателя (директора) требуют и поскольку ему предписывают, то он может и ограничиться этими требованиями и предписаниями и не делать ничего сверх этого. Так это обычно и бывает. А можно делать. Вот пример. Графский покупает в Белоруссии 200 коров, которых там, в Белоруссии, нечем кормить. Покупает он их (выражение самого Графского) по цене костей. То есть берет практически задаром — ради бога возьми! Через несколько месяцев эти коровы-доходяги превращаются в превосходное откормленное стадо. Вообще-то говоря, директор совхоза этого не должен был делать. У нас колхозы и совхозы между собой не торгуют, они торгуют исключительно с государством. Или скажем мягче: он мог этого не делать.

Это была его личная, не предписанная ему инициатива.

Я разговаривал с Графским много раз. Как писатель 25 процентов таланта тратит на то, чтобы написать вещь, а 75— на то, чтобы ее опубликовать, так и Графский большую часть способностей тратил (особенно на первых порах), чтобы преодолеть те рамки и ограничения, в которых находится каждый председатель колхоза или директор совхоза.

Когда спохватились, он уже стоял на обеих ногах. Тут увидели, что вовсе это нелишне — иметь в 7 километрах от города образцовое, могучее, можно сказать, хозяйство, с чистыми фермами, с чистыми (без сорняков) полями, с сотнями гектаров превосходных садов, с чудесным Домом культуры, с клубничными плантациями, с питомниками фруктовых деревьев, с прекрасными искусственными водоемами, с благоустроенными городскими домами.

Но все равно, вся жизнь Графского и все его хозяйствование — это преодоление внешних условий. Ограничения остаются, хотя, конечно, они теперь другого масштаба и другой формы. Я его спрашиваю:

— Что вам сейчас нужно?

Он говорит:

— Мне нужно два фирменных магазина. Один на Невском проспекте, другой — на улице Горького. А то, пока моя продукция (яблоки, смородина, клубника, рябина, молоко, мясо и производные от них) попадет на базу и належится там, пока она дойдет до покупателя... Но никто, конечно, ему таких магазинов не даст.

Второй пример касается уже не совхоза, а кол-

хоза, где председателем был недавно умерший известный Аким Горшков. Юрист по своей профессии, он тоже взял обыкновенный, то есть захудалый колхоз на юге Владимирской области, в местах, называемых Мещерой. Зная все законы и порядки (а значит, и умея обойти иные из них), он начал укреплять колхоз тоже исключительным способом. В осенне-зимние дни, когда нет полевых работ, колхозники вязали метлы (благо мещерская сторона — лесная) и продавали их «частным» путем, то есть не через государство, а на базарах. Так получилось у Акима Горшкова первоначальное накопление, материальная база. Он накормил людей, заинтересовал их материально, сплотил вокруг себя и создал постепенно (уже не занимаясь вязанием метел) образцовый колхоз, известный не только всей области, но и всей стране.

Нетрудно сделать общий, пусть парадоксальный, вывод. Будь то феномен Люсковой (когда образцовое хозяйство создавалось усилиями сверху), будь то феномен Графского и Горшкова, мы видим, что такие хозяйства являются не нормой, а исключениями, что они образовались (главный вывод) не благодаря общей системе хозяйствования, но вопреки ей.

Вот так я ответил бы на ваш первый вопрос.

Теперь второй ваш вопрос. Перепишу его, чтобы иметь на страничке перед глазами:

«Какие сдвиги в психологии сегодняшних крестьян (колхозников, рабочих совхозов) вас радуют, а какие огорчают?»

Думается, надо сначала собраться с мыслями и посмотреть на вообще сдвиги в психологии крестьян, а делить эти сдвиги на радующие и не радующие — дело второе. А чтобы посмотреть на

сдвиги, придется оглянуться назад на обстоятельства и причины, эти сдвиги породившие. Процесс изменения обстоятельств, внешней обстановки, реальной действительности шел медленно (относительно, конечно, ибо 50 лет с момента образования колхозов для истории не такой уж большой срок), в расчете на медленное изменение психологии.

Сначала было так: сотни тысяч (а может, и миллионы) сел, деревень, небольших деревенек, еще полностью целых, от двора до двора, от дома до дома, от семьи до семьи[1]. Целы и сараи, и амбары, и баньки, и все прясла, выгоны, луга, мосты и мосточки, перелесочки, школы, даже церкви, а главное, все жители, все мужики, одним словом, все цело. И в каждой деревне, как бы мала она ни была, пусть хоть пятнадцать, хотя десять дворов — свой отдельный колхоз. Вокруг нашего села, например, лепилось тринадцать деревенек (приход), наше село четырнадцатое, и образовалось поперву началу у нас четырнадцать колхозов. Более того, в селе было 40 дворов, так показалось крупновато для хозяйства, разделили его на две бригады.

Известно, что в первые годы колхозники распределяли по трудодням часть урожая. Большую часть отдавали государству (практически бесплатно, по чисто символическим ценам), а остальное распределяли: и рожь, и горох, и овес, и гречиху, и клевер, и даже постное маслице, если сеяли лен. Значит, во-первых, колхозникам было не все равно, что сеять и выращивать (что посеешь, то и пожнешь, то и получишь на трудодень), а

---

[1] О раскулаченных во время коллективизации здесь не говорим. Это другой вопрос и другая проблема.

во-вторых, им было не все равно, сколько вырастить. Цифра госпоставок спускалась заранее, так что чем больше останется после госпоставок, тем лучше.

Председатели тогда везде без исключения выбирались из своих же местных мужиков, и вообще село или деревня тогда еще существовали как единый организм (вроде большой семьи), а не были просто населенными пунктами, как это стало впоследствии.

Конечно, бывали случаи, когда такая маленькая деревенька (но — колхоз) да еще со своим-то председателем умела утаить толику урожая (ну, там, одно оденье или стог сена), а потом разделить его между собой. Их тоже можно понять, потому что они по своей тогдашней малой сознательности не понимали, почему и за что нужно все выращенное увозить и бесплатно отдавать.

Картина постепенно менялась. Сколько сеять и что сеять все больше и больше определялось не в колхозе, а в районе и области. Кроме того... если сказать одним словом, то брать в виде госпоставок стали все больше, а оставлять колхозникам на трудодень все меньше, пока дело не дошло до того, что брать стали все, кроме семян и фуража (корма лошадям), а потом стали брать и семена и фураж и возвращать их назад частями только по мере самой жесткой необходимости[1].

Привыкание к этому новому положению вещей облегчалось тем, что наступили военные годы, ну, а война есть война, высшее напряжение всех сил и ресурсов.

---

[1] Мы не входим в такие детали управления сельским хозяйством, как, например, МТС, а набрасываем лишь самую общую схему.

Однако война кончилась, а положение сохранилось. Надо помнить еще, что у колхозников того времени по всей стране не было паспортов, так что они не только не могли уехать куда-нибудь, но даже переночевать в городской гостинице (паспорта, как известно, колхозникам выдали только в 1970-х годах).

И тем не менее они уезжали. Исхитрялись и изловчались. Подкупали председателей колхозов ради получения справки на выезд, по которой можно было получить паспорт. Не возвращались в родную деревню после службы в армии, молодежь зацеплялась за ремесленные училища, за техникумы, а то и за институты. Сначала в деревнях стали появляться заколоченные дома, потом эти дома стали исчезать, доколхозные сараи и амбары тем более, погреба тем более, церкви тем более: русская деревня повсеместно изменяла свой вид, а потом стали исчезать с лица земли и целые деревеньки.

Таким образом, первым психологическим сдвигом надо считать полную незаинтересованность крестьян-колхозников в том, что они производят. В самом деле, если все равно все произведенное увезут, то не все ли равно, что́ именно увезут?

Я разговорился однажды с одним нашим колхозником.

— Видел я, посеяли гречу около Плаксинских кустиков. Хорошо.

— А что хорошего? — ответил мне колхозник.

— Ну как же? Гречневая каша, гречневые блины...

— Сказать правду, нам все равно, что вырастет. Гречи этой мы все равно и здесь не увидим и в магазине потом не купим. Так что нам все равно,

что будет расти в поле: греча так греча, горькие лопухи так горькие лопухи. А что? Если скажут, надо разводить... В Японии, я слыхал, разводят...

Можно ли вообразить себе психологию крестьянина, пахаря, сеятеля, косца, жнеца, земледельца, которому все равно, что он делает? Чтобы не тянуло его в поле посмотреть, как там все растет, чтобы не радовалась душа своевременному дождичку, погожим дням в сенокос, чтобы не радовалась душа дружным всходам, чистому, бессорняковому полю, длинному колосу, длинной соломе, ярким озимым, веселому цветению льна, жужжанию пчел над гречихой, розовым морям клеверов?

Вообразить можно. Но тогда надо сделать следующий шаг в рассуждениях и прийти к выводу: у колхозника нет другой заинтересованности в труде, кроме как материальной заинтересованности в ее чистом виде, то есть в денежном выражении.

А ее-то, материальной заинтересованности, как раз и не было, потому что за свой круглогодовой и круглосуточный труд (да еще без духовного интереса) колхозники получали (в лучшем случае) по пять, а то и по три копейки в день.

Неизвестно, чем и как кончилось бы дело, но тут произошло в стране одно известное событие, а вслед за ним еще ряд известных событий, и началось (как выражается один мой приятель) оживление в зале.

Все поняли, что необходимо колхозников материально заинтересовать. Стали на первых порах «авансировать» их деньгами. Очень скромно. Тоже по гривенничку, потом побольше. Но все же меньше, чем, скажем, получала в то же время, ну,

скажем... старушка лифтерша в городе. Но все же это были деньги, а не пустое место. Этот процесс закончился теперь тем, что колхозников (отбросив фиговый листочек под названием «трудодень») просто и повсеместно перевели на зарплату, то есть превратили из крестьян в сельскохозяйственных рабочих.

Посмотрим, какие плюсы и минусы произошли из этой перестройки и какие получились, как вы называете, психологические сдвиги.

Материальная заинтересованность была нацелена на то, чтобы если не прекратить, то уменьшить отток населения из деревни в город. Часто приходилось даже слышать: вот погодите, увеличится материальная заинтересованность колхозников, тогда начнется другая картина — люди поедут не из деревни в город, а, напротив, из города в деревню.

Действительно, этого можно было ждать. Особенно когда дело поправилось настолько, что денежки зашевелились у колхозников и на сберкнижках. Я не знаю, как в других областях, но у нас во Владимирской области у каждой колхозной семьи или, если быть осторожным, почти у каждой семьи существует определенный запас денег.

О размерах этих запасов выспрашивать не будешь, но из многих разговоров у меня сложилось впечатление, что запасы эти колеблются от трех тысяч до пятнадцати. Можно сказать даже, что в некотором смысле колхозники теперь живут лучше самих колхозов, едва сводящих, частенько, концы с концами.

И вот произошел парадокс. В город стали уезжать в первую очередь не те семьи, которые живут беднее, а те, которые живут богаче, у

которых в запасе больше денег. Действительно, куда соваться в город без денег целой семьей? Невозможно. А с деньгами можно купить домик, осмотреться, устроиться на работу.

Таким образом, материальная заинтересованность, на которую уповали, поворотилась другим концом. Чем больше у колхозника денег, тем равнодушнее (еще равнодушнее) он делается к колхозному производству.

Имеет огромное значение и то, что эти деньги мало «греют» колхозника как крестьянина и земледельца. Да и с государственной точки зрения: казалось бы, вкладываются огромные деньги в сельское хозяйство по статье зарплаты, а фактически в сельское хозяйство эти деньги, не попадают, до земледелия не доходят и на расширенное воспроизводство (есть такой экономический термин) не употребляются. Они употреблялись бы в том случае, если бы земледелец, обзаведясь деньгами, покупал бы еще коров, лошадей, семян, улучшал породу скота, приобретал новую технику и т. д. Но колхознику ничего этого не нужно (да он и не может купить даже и одну лошадь), и вот деньги, вложенные, казалось бы, в сельское хозяйство, в деревню, оказываются вне сферы сельского хозяйства. Покупается сыну мотоцикл, потом второму сыну мотоцикл, покупаются магнитофон, телевизор, даже автомобиль. Все это хорошо и прекрасно, но причем тут земледелие, как таковое?

А денежки все-таки «зудят», понуждают к каким-нибудь действиям. Оглянувшись вокруг себя, их владелец не видит в деревне никакого им применения (кроме, разве, выпивки), и он едет в город и покупает там домик с садиком.

Следующий «переселенческий» процесс идет по другой линии. По мере того как начали редеть российские деревеньки и колхозы становились все маломощнее и маломощнее, их начали объединять. Десять-пятнадцать деревенек составляют теперь один колхоз. Давно уж колхозники не выбирают себе председателя из местных же мужиков, отошли в безвозвратное прошлое эти идиллические времена. Теперь председателей повсеместно присылают из района или из области.

Из десяти-пятнадцати (а то и больше, объединенных в один колхоз населенных пунктов (бывших некогда деревнями) один населенный пункт является центральной усадьбой колхоза. Там — контора, там — почта, там — сельмаг, там — медпункт, там — клуб (кино), там — все машины, там если не водопровод, то водоразборные колонки, туда из города ходит рейсовый автобус, там, одним словом,— столица колхоза. И вот из окрестных бывших деревенек люди теперь переселяются на центральную усадьбу, а деревеньки окончательно исчезают. Сейчас, когда пишутся эти строки, в 1980 году, на необъятных просторах так называемой нечерноземной полосы исчезают десятки тысяч маленьких деревень, а места, где они стояли, запахиваются. Введен термин «неперспективная деревня». Когда про деревню официально скажут, что она неперспективная, это — приговор, это значит — она обречена и скоро на ее месте будет распаханное поле.

В этом процессе можно выделить много разных психологических оттенков. Конечно, с точки зрения самого производства и экономики, с точки зрения сухого расчета, эти оттенки могут показаться сентиментальными, если не смешными. Но со всех

ли точек зрения они смешны? И смешны ли они в конечном счете?

С исчезновением деревеньки исчезает для нескольких десятков человек место, где они родились, провели детство, выросли, то есть самое любимое место на земле, то есть — малая родина. С исчезновением сотен тысяч деревенек исчезает малая родина для миллионов людей. На посторонний взгляд, это, может быть, просто дома, садишки, огородишки, залоги, прясла, колодцы, ветлы, сирень в палисадниках, черемуха у заднего тына, тропинка к речке, дорога в лес, для того же, кто здесь родился и вырос, это место, где его корень врастал в родную землю, в большую Родину. Ведь, умирая, сраженный очередью из автомата солдат в последние, уже туманные мгновения видел родину не красным очерком на карте, а именно березку под окном, утренний туман, выползающий из оврага на широкий луг, родничок в том овраге, ступеньки родного крыльца... Каждый видел свое, но из миллионов этих маленьких картин и сложилась бы, если бы сложить их волшебным образом, картина России.

Корни обрубаются, исчезают. На новом месте укорениться так, как укоренился род на протяжении веков, уже не удастся.

Переменив одно место, легко переменить его и на второе, третье. Чувство родины резко ослаблено. Без корней — только стоит подуть ветерку...

В масштабах страны — повторю — «безкорневых» людей, потерявших малую родину (запахали), людей с ослабленным чувством привязанности к родным местам, с ослабленным чувством родины набираются миллионы и миллионы. В нормальной

обстановке это, может быть, и ничего, но не откликнется ли это на критических переломах истории, если таковые возникнут?

Теперь, отвечая все на тот же вопрос, надо рассмотреть еще один сдвиг, происшедший в психологии современного крестьянина.

Итак, значит, оказалась ослабленной заинтересованность в характере труда, которая свелась в конце концов к заинтересованности лишь в зарплате. Ну, а зарплату не все ли равно, за что получать и где получать — на своем поле или на чужом, в деревне или в городе? Но и это еще бы полбеды. Здесь мы сейчас увидим один психологический сдвиг, который действительно, может быть, сближает город с деревней, рабочего заводского с рабочим сельскохозяйственным, стирая те самые известные грани.

Было время, когда семья колхозника не могла представить свое домашнее личное хозяйство без коровы, без овец, кур, поросенка. Даже в самые трудные годы, когда за все надо было платить дополнительные налоги, все равно держали домашнюю живность, а невозможность держать ее по бедности или бескормице воспринимали как беду.

Экспериментирование коснулось и этой сферы народной жизни. Однажды предложили колхозникам всех своих коров продать колхозам. Надеялись одним махом резко и круто увеличить поголовье колхозного скота в стране. Но это оказалось лишь перекладыванием из одного кармана в другой, причем при перекладывании много просыпалось. Теперь не только опять разрешается держать коров в личном пользовании, но даже и рекомендуется, а они — колхозники — уже не хотят. Они уже вкусили лег-

кой бескоровной жизни: в 4 утра вставать не надо, о кормах думать не надо. А молоко? Достанем, купим. У других колхозников или в колхозе. Я уж писал где-то, в каком-то рассказе, как ответила мне наша колхозница Александра Кузьминична на вопрос, почему она опять не заводит корову.

— А я, Владимир Алексеевич, что не допью, то досплю.

То, что колхозники не видят практических результатов своего труда, то, что снабжение колхозников централизованно и осуществляется через сельпо, развило в колхозниках, я бы так назвал, иждивенческую психологию. А! С голоду помереть не дадут, без хлеба не оставят. Были бы деньги, а молока и яиц купим. Откуда яйца с молоком возьмутся? А нам-то не все ли равно? Государство пусть заботится.

Я спросил одного пожилого колхозника, лучше ли ему сейчас живется, чем при единоличном хозяйстве.

— Да что ты, Лексеич! Разве можно сравнить? Ведь, бывало, я с солнышком — уже в поле, и дотемна. А теперь я в 8 часов встану, чайку попью, покурю и не торопясь — на работу. Там мы опять покурим с мужиками, глядишь — обед. Кто-нибудь в магазин сбегает...

Да, жизнь современного колхозника, можно сказать, беззаботна. А если у него и есть заботы, то они все не в сфере его главной деятельности, не в сфере земледелия. Ну, там, дочку устроить учиться, чтобы поступила она в техникум, ну, там, сына в городе на работу устроить — мало ли бытовых личных забот.

Я вот на днях, будучи в Германии (ФРГ), провел день в доме фермера. У него 30 гектаров земли.

Работают только вдвоем с женой. Специализация — поросята до 25-килограммового веса. То есть они держат маток, заботятся об их приплоде и выращивают этот приплод до 25 килограммов. Потом поросят они продают другому фермеру, который уже не держит маток, а занимается исключительно откормом поросяток до их товарной стокилограммовой кондиции. У них на ферме одновременно пребывает до 75 поросят. Одни подрастают, другие появляются на свет. Каковы проблемы? О, проблемы очень серьезные. На германский рынок в рамках общеевропейского рынка хлещет дешевая свинина из Голландии. Она сбивает местные цены, два года назад эти мои фермеры продавали поросят по 120 марок за голову, а теперь они стоят только 80. Производство оказывается убыточным. Будут держаться (благо, корма свои, произведенные на 30 гектарах) в надежде на повышение цен. А если они не повысятся?

Конечно, любой наш колхозник по сравнению с этим фермером беззаботен, как младенец. «Утром встану, чайку попью... а проблемы пусть решает председатель колхоза или государство... да нас и не спрашивают».

Следующий психологический сдвиг, прямо скажем, парадоксален. Слово «колхоз» расшифровывается как коллективное хозяйство, а на деле развился в людях по сравнению с прежней российской деревней крайний индивидуализм. Это произошло не только потому, что исчезли такие коллективные, дружные, как бы праздничные работы, как, например, сенокос или молотьба или, по крайней мере, одновременные работы вроде жнитва и навозной, общесельские гулянья по большим праздникам, традиционные посиделки, общие работы по бла-

гоустройству села (дорога, мосты, пруды), но и потому, что резко изменилось село по самой своей сути.

Берем для примера наше село Олепино.

По количеству домов от нашего села, как ни странно, пока не убыло. Оно ведь было все время так называемой центральной усадьбой колхоза. Деревеньки вокруг распадались, таяли в зеленом ландшафте, как сахар в воде, места, где они стояли, запаханы (или скоро будут запаханы), люди же из распадающихся деревенек частично переезжают на центральную усадьбу колхоза, пополняя ее. Вот почему по количеству домов от нашего села не убыло.

Но коренные сельские жители в большинстве своем умерли, некоторые семьи целиком переехали в город, в других семьях так: мать-старуха доживает свой век в родном дому, а дети ее — кто где.

Понаехало много чужих людей, просто нанялись работать в колхоз и заняли пустые дома. Эти приезжие люди часто меняются: одни приезжают, другие уезжают. Кроме того, в колхозе постоянно живет, сменяясь, партия городских рабочих.

Не считая одиноких старух, коренных людей, то есть с не совсем еще оборванными корешками, сидящими в земле, осталось три-пять.

Село было следующим органическим образованием в государстве после семьи. Конечно, могли и поругаться (особенно соседи) и подраться даже (что бывает и в семьях), но все же это был цельный и живой организм с большим количеством общих интересов. Жили все вроде бы и каждый по себе, но сообща.

Теперь же, осмелюсь сказать, никакого села больше нет, а есть населенный пункт, с текучим,

нестабильным, не объединенным никакими внутренними связями населением. Внутренние связи между жителями села ослаблены настолько, что их как бы даже и нет. Как в городском многоэтажном доме очень часто не знают люди, кто, как и чем живет в их же подъезде, не говоря уж про соседние подъезды, а тем более про соседний дом, так и в современном селе люди живут каждая семья сама по себе.

Изменилось отношение не только к труду («В восемь часов встану, чайку попью...»), но и к главному продукту земледельческого труда — к хлебу. В сказку ушли те времена, когда крестьянин не мог себе позволить уронить или бросить на землю кусок хлеба, он был священен. Теперь хлебом как таковым колхозники (совхозники) не занимаются. Нет у них ни зерна, ни муки, ни решет, хлеб покупают в магазине, в сельпо. И вот картина: когда привезут хлеб, тянутся от магазина люди, волокущие по 10—15 буханок хлеба. Зачем? На корм скоту: корове, курам и поросенку.

Не сгущаю ли я краски? Нет, не сгущаю. Вот передо мной открытое письмо землякам «Чем живем-кормимся?» замечательнейшего современного русского писателя, лауреата Государственной премии СССР Федора Абрамова, ныне, к прискорбию, уже покойного, опубликованное в газете «Пинежская правда» 18 августа 1979 года. Напомним, что Пинега находится в Архангельской области. Далеко она от наших владимирских мест, а проблемы, оказывается, одни и те же.

Да, и там, в Архангельской области, колхозники сейчас материально не бедствуют, но и там, как у нас, оказывается верной наша формула, что в определенном смысле колхозники (совхозники)

живут сейчас лучше, чем сами колхозы или совхозы. Федор Абрамов пишет:

«Все было. Был пустопорожний трудодень, был труд на износ, были непременные налоги, займы... Как же не порадоваться тому достатку, который пришел на Пинегу, в нашу деревню... Изменились и условия труда. Тракторы, комбайны, грузовики... давно уже прочно вошли в быт деревни... Но за счет чего все эти отрадные перемены? За счет надоев, за счет привесов, урожаев? Увы, нет... За счет все возрастающих государственных дотаций, которые по совхозу достигают почти двух миллионов рублей».

Дальше отдельными штрихами писатель рисует сегодняшнее состояние своей родной деревни.

«На 30 с лишним гектаров сократились и без того ничтожные размеры пахотной земли, на 6 голов уменьшилось поголовье крупного рогатого скота... Надои молока как будто увеличились — с 1641 кг на одну корову в 1963 году до 2254 килограммов в 1978 году. Но если говорить серьезно, разве это то большое молоко, о котором вот уже столько лет идут разговоры? В маленькой Финляндии, где мне довелось быть три раза, буренку, дающую молока меньше 5000 литров, вообще не держат...[1] За 10 лет в Верколе сменилось 7 управляющих, 3 года нет бригадира по полеводству, из года в год не хватает телятниц и доярок. Редкий год в Верколе хватает на зиму кормов для скота. В прошлом году, например, по 2 кг сена на день[2] давали корове, а весной даже солому с Кубани завезли (это

---

[1] В больших — США, Франции, Германии, Англии и т. д. и т. д.— то же самое.— *В. С.*

[2] Вместо нормального пуда в день.— *В. С.*

в край-то бескрайних трав!), где уж тут надои наращивать. Сохранить бы вживе скотину...[1] А почему телята ежегодно гибнут в Верколе? Я не поверил было, когда мне сказали, что за июль этого года пало 8 телят. И отчего? От истощения. Среди лета, когда трава кругом. И что же? Забили веркольцы тревогу? Меры неотложные приняли? Нет. Успокоили себя острым словцом: телят окрестили смертниками, а грязный, смрадный телятник, в котором круглые сутки взаперти томится молодняк,— концлагерем... многие пожни заброшены, заросли кустарником. Дальние покосы по лесным речкам, так называемые суземы, вообще не осваиваются. А ведь в былые времена оттуда вывозили до двух тысяч возов сена! Нельзя без боли смотреть, как по заливным лугам — знаменитым пинежским наволокам — вдоль и поперек разъезжают трактора, начисто уничтожая травяную подушку луга... Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. Не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием... Пинежский берег под деревней — разноцветная галька да разливы желтых песков — залюбуешься. А чтобы ступить босой

[1] К этому случаю вспоминаю разговор с одним датским фермером о кормах. Что-то никак не могли мы сначала понять друг друга. Оказывается, у них там главная проблема молочного хозяйства — как заставить корову съесть лишний килограмм корма. Если бы она съела лишнего корма, то и дала бы лишнего молока.— *В. С.*

ногой и не думай: битые бутылки, битые стеклянки, консервные банки... Не лучше и в окрестных лесах... Хлам, неубранная хвоя, гниющий вершинник — это в делянках, где рубили дрова. А там, где заготовляли лес, и того страшнее: черная пустыня, пройти невозможно. Былые лесные и сенные избушки, без которых немыслима жизнь на Севере, полуразрушены, обезображены... А в самой деревне? Три — четыре вековечных лужи на главной улице. В непогодь, в дождь не пройти без болотных сапог. И вот на обочину бросают кирпичи, доски, палки и только никак не найдут способа разделаться с ними навсегда...»

Перечислив все это и многое другое, Федор Абрамов спрашивает сам себя — в чем же дело? И отвечает: «...если сказать коротко, все в конце концов упирается в равнодушие и в пассивность. Нет активного, заинтересованного, требовательного отношения в Верколе к совхозным делам, к благоустройству села...»

Таковы, мне кажется, основные сдвиги в психологии сегодняшних (хочется сказать — бывших) крестьян — колхозников и рабочих совхозов. А уж радоваться или огорчаться этим сдвигам, судите сами.

Ответы на остальные ваши вопросы во многом вытекают из того, что здесь уже написано.

Вы спрашиваете, нужно ли в современных укрупненных хозяйствах воспитывать (культивировать) в душе каждого колхозника (рабочего совхоза, сельского интеллигента) чувство хозяина?.. И т. д. (Смотри выше.)

Ответ содержится в самом вопросе. Если человек является на самом деле хозяином чего-либо, то зачем культивировать в его душе чувство хозяи-

на? Он и сам знает про себя, что он — хозяин. Если же он таковым не является, то сколько ни культивируй — толку никакого не будет. Внушайте мне любыми средствами и способами, что я гениальный математик, может быть, и дрогнет моя психология, может быть, я и сам поверю (если все и всюду говорят) в то, что я математик, но все это не поможет мне решить ни одного математического уравнения.

О закреплении молодежи в селе. То есть закреплять, если молодежь закрепляться не хочет? Почему не хочет, несмотря на очевидные преимущества жизни в деревне?

А разве есть они, эти преимущества? Бесспорно, есть. Если бы их не было, то всякий более или менее обеспеченный городской человек при первой возможности не стремился бы обзавестись домом, стоящим среди земной зелени, поближе к воде. Такие дома у нас называются дачами. Высшей роскошью для американского миллионера является ранчо, то есть опять же дом вдали от города и небольшое хозяйство, связывающее человека непосредственно с землей.

Можно перечислить главные преимущества по порядку.

В деревне — работа, как правило, на чистом воздухе, тогда как в городе приходится дорожить получасовой прогулкой, не говоря уж о том, что воздух деревни и воздух города не подлежат сравнению. Точно известно, сколько тонн копоти оседает ежедневно на территории хотя бы Москвы. Точно известна дозировка кислорода в воздухе больших городов и дозировка вредных примесей.

В деревне — как правило, физический труд, который обновляет организм и продлевает жизнь

человека, тогда как в городе, за исключением некоторых профессий, труд связан с сидением в помещении либо со стоянием в помещении.

В деревне — жизнь в окружении тишины, в то время как в городе стоит почти круглые сутки несмолкаемый шум, который люди часто приучаются не замечать. По науке известно, что даже если человек спит, то шум все равно воздействует на нервную систему, на мозг человека, от чего человек изнашивается быстрее.

В деревне жизнь более в спокойном ритме, без вечной спешки, без вечного толкания у троллейбусных остановок, в магазинах, без вечного ощущения, что куда-то опаздываешь и что-то не успеваешь сделать.

В деревне повседневное общение непосредственно с землей, с деревьями, с травой, с цветами, с небом, со снегом, с рекой, с лесом, в то время как в городе повседневное общение с камнем, с асфальтом, с рычащими машинами. Короче говоря, в деревне — естественная разреженность населения, тогда как в городе — неестественная чрезмерная скученность.

Д. Арманд в чрезвычайно полезной книге «Нам и внукам» так говорит о значении природы для человека:

«Не менее важны и так называемые ресурсы среды, которые не потребляются непосредственно человеком, но необходимы для его здоровья, работоспособности и хорошего самочувствия. Сюда относятся: чистый воздух, умеренные температуры, солнечный свет с достаточным количеством ультрафиолетовых лучей, рассеянные в воздухе фитонциды — выделяемые растениями вещества, убивающие болезнетворных микробов; и даже

такой «нематериальный» ресурс, как тишина. Наконец, людям нужны — и это отнюдь не блажь — красота и величие природы, гармоничные звуки, например, плеск воды, звучание ручья, пение птиц, а также благоуханный запах леса, луга, моря...

Стороны природы, воздействующие на эстетическую восприимчивость человека, мы назовем духовными ресурсами природы, так как они поднимают дух человека, благотворно воздействуют на его психику, придают бодрость, жизнерадостность, усиливают творческие способности. Ведь недаром в медицине появился такой термин, как «ландшафтотерапия».

Действительно, сколько преимуществ и какие прекрасные преимущества, а молодежь все равно закрепляться в деревне не хочет. Что за притча!

Начнем с того, что административное закрепление молодежи в селе было бы все же излишней жестокостью. Сколько десятилетий внушали детям и молодежи, что ученье свет, а неученье тьма, сколько техникумовских, институтских, университетских, консерваторских дверей открыли в стране и гордимся этим, и вдруг — «девушки на фермы, юноши на трактора!» А может быть, у них естественная интуитивная тяга пополнять собой национальную интеллигенцию, привносить в нее свежую кровь и свежие соки. Будучи закрепленными, остались бы сидеть в деревне на тракторах и фермах Федор Абрамов, Василий Белов, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Гавриил Троепольский, Евгений Носов, Борис Можаев, Сергей Орлов, Сергей Викулов, Михаил Алексеев, Иван Стаднюк, Александр Яшин, Николай Рубцов, Василий Шукшин, Василий Федоров, Александр Ведерников... Под-

ставляйте сюда еще десятки имен писателей, художников-живописцев, музыкантов, певцов и певиц, киноактеров, ученых, военачальников и общественных деятелей. Зачем было бы закреплять в деревне Корина, Пластова, Есенина, Твардовского, Лемешева...

Да и как не рваться молодым людям в город, если телевидение, радио, кино, о чем бы ни шла речь, какой бы ни шел фильм, пусть косвенным образом, агитируют за городской образ жизни. Красивое метро, красивые троллейбусы, красивая городская улица, красивые городские наряды, красивые городские девушки или, напротив, юноши, красивая городская кухня, красивый телефонный аппарат, молодежные кафе, новогодний бал, влюбленные на рассветной набережной, остроумные КВН, демонстрация мод, витрины ГУМа, бульвар со старичками, кормящими голубей; фонтан на площади, певицы, поющие перед сеансом кино, байдарки, летящие по воде, водные станции с вышкой, каток в парке, тишина музейного зала — одним словом, что бы ни мелькнуло на экране телевизора или кино, все агитирует за городской образ жизни.

Пусть многие из этих городских преимуществ призрачны. Метро и троллейбус удобны, но только потому, что нужно далеко ездить на работу и с работы. То есть я хочу сказать, что огромное количество городских удобств призвано к, так сказать, погашению городских неудобств. Но есть же, есть же у города и объективные преимущества.

Не будем закрывать глаза на правду: одним из основных преимуществ города перед деревней (так же как Москвы перед другими городами) остается снабжение, продовольственные и промтоварные магазины. В большинстве стран разницы в коли-

честве товара и в их разнообразии между большими и маленькими (сельскими) городами практически нет.

Особо нужно поговорить о жилье и о связанных с ним бытовых условиях. Существует странное мнение, что жить в огромном многоквартирном доме удобнее, чем в небольшом отдельном доме.

Нет слов, крестьянская изба во многом не отвечает, возможно, современному комфорту, но я бывал много раз в отдельных домах английских, датских, французских, венгерских сельских жителей и видел, что в этих домах есть все современные, так сказать, городские удобства: электричество, горячая вода, холодильники, водяное отопление, газ.

В городах многоэтажные дома строятся от нужды, потому что на меньшей площади требуется разместить как можно больше людей. Среди земных просторов, на приволье, где каждый дом может стоять окруженным зеленью, не только смешно, но и глупо строить большие, а тем более многоэтажные, хотя бы и в три этажа, дома.

Единственное преимущество такого дома — легче провести водопроводный кран, но это и все. Дальше идут одни неудобства. Зачем искусственно скучивать людей, целую деревню в одном трехэтажном доме с тонкими звуконепроницаемыми стенами? Трава около таких домов обычно увешана бельем, так что не видно и самого дома. Вокруг такого дома вырастают, подобно коросте, разные пристройки, сарайчики, дощатые и фанерные сооружения. Тоска берет от одного взгляда на такой дом.

Архитектурные организации, вместо того чтобы вынашивать новые замыслы о трехэтажных короб-

4—1397

ках для деревень, должны были бы помочь и подсказать деревенским жителям новый тип удобного, современного, но во всяком случае отдельного дома. Повторяю, что по опыту других стран городской комфорт вполне сочетается с маленьким отдельным домом.

Чтобы уменьшить и притормозить отток населения из деревни в город, мало теперь уповать на материальную заинтересованность. Деревенский труд в корне отличается от труда городского. Он требует не просто материального интереса, но кровной заинтересованности, непременно требует души человека. Вопрос о том, как вернуть бывшему крестьянину утраченную заинтересованность в своем труде, это главный деревенский вопрос.

Дойдя до вашего пятого вопроса, можно сказать, что пьянство в деревне, как «весьма распространенное зло», не имеет никаких преимуществ перед пьянством городским. Видимо, у них обоих одни и те же «социальные, нравственные и психологические мотивы». Но это тема для отдельного исследования и разговора, хотя многое из того, что здесь уже сказано, является в определенной степени предпосылкой этого горестного явления.

О роли руководителей в современных хозяйствах говорилось частично в начале этих заметок.

В конце пятидесятых годов возникла у нас целая литература о деревне, обозначенная тогда именами Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Ефима Дороша, Гавриила Троепольского, Георгия Радова... Ну, там, «Районные будни», «Падение Ивана Чупрова», «Деревенский дневник» и т. д. Вот они все, эти писатели, сходились на том, что все дело в плохих руководителях, будь то

колхоза, будь то целого района. Но сколько же нужно плохих руководителей, чтобы в упадке и в прорыве оказалось сельское хозяйство страны в целом, во всяком случае в нашей нечерноземной полосе? Не следует ли поискать более глубоких и более общих причин?

Последний седьмой вопрос выпишу снова: «Ваш идеал сегодняшней и завтрашней нечерноземной деревни (жилье, люди, земля, отношение людей к земле, к технике, к личному хозяйству)?»

1. Жилье — отдельное, красивое, удобное, вписывающееся в ландшафт, дополняющее и украшающее его.

2. Люди — трезвые, добрые, честные, совестливые, трудолюбивые, исполненные собственного достоинства, счастливые.

3. Земля — не истерзанная, а ухоженная, привлекательно выглядящая. Поля, не заросшие сорняками, луга не заболочены, не закочкованы, деревни не разъезжены тракторами, дороги благоустроены и аккуратны, леса не замусорены, не захламлены, пруды все вычищены, мосточки все починены, речки облагорожены, хлеба высокие и густые, лен голубой, гречиха белая, клевера розовые, над чистыми и богатыми полями жаворонки звенят.

4. Отношение людей к земле — любовное, хозяйское, как к родной земле.

5. Отношение людей к технике — бережливое, разумное.

6. Отношение к личному хозяйству... чтобы вся земля была единым личным хозяйством.

Луговая гвоздичка

Ничего не может быть лучше летнего утреннего купанья. Я бы сказал — ранне-утреннего купанья. В девять часов — уже не то, даже в восемь часов — уже не то. Надо встать в шесть, не позже семи. И ведь как это у нас получается? О многом теперь с возрастом, то есть с опытом мы знаем: надо делать то-то и то-то, так-то и так-то. Знаем и все-таки не делаем, много раз встав рано утром... Впрочем, я беру только деревенские утра, те, что на природе, среди природы, ибо какая разница, когда встать в городе в четырех стенах городской квартиры? Для заострения мысли возьмем крайний случай и спросим себя: какая разница, когда проснуться и встать, скажем, в тюремной камере?.. Итак, много раз, встав рано утром, по дороге на реку или в лес я, захлебываясь от восторга и ликованья, даримых мне летним утром, думал: зачем же такие утра ты сам себе даришь так редко? Почему спишь, почему пропускаешь? И сколько их ты уже невосполнимо пропустил?

В то лето (я жил тогда в деревне со своей старшей сестрой) я взялся за ум, проявил твердую волю и стал ежедневно ходить на речку купаться не позже семи часов. Кроме того, я взял за твердое правило ходить босиком, как бы не обильна и не анестезирующе холодна, то есть до онеменья ног, холодна ни была роса. Проведешь ногой по траве, а с ноги — ручьи. А роса не просто роса, но сверкает под косым ранне-утренним солнцем. И вот свидетельствую: ничего не может быть лучше летнего утреннего купанья.

Теперь очень сильно изменилось наше маленькое — в сорок домов — село. Я уж не беру внешний вид с почерневшей, разваливающейся, как говорится, на корню кирпичной церковью, с зарослями крапивы и горьких лопухов вокруг нее, но переменилось и население села. Коренные жители в большинстве умерли, молодежь разъехалась в города. В село — пока оно было так называемой центральной усадьбой колхоза — понаехали из окрестных, исчезающих с лица земли деревенек чужие люди. А тут еще решили где-то там наверху и стали поселять у нас отбывших тюремные сроки уголовников. Надо же кому-то работать и в деревне, а работать — некому.

Впрочем, это совсем уж чужие, посторонние люди не задерживались надолго в селе, они исчезали куда-то так же внезапно, как и появлялись. Только один из них поселился в доме не очень еще пожилой вдовы и живет уже не пятнадцать ли лет. Этот, можно сказать, пустил корешки, можно сказать, укоренился, осел.

Из всех этих своеобразных и временных поселенцев запомнилась мне одна пара, запомнилась потому, что женщина в этой паре была неудержима на мужскую любовь. Муж ее однажды у водопроводной колонки (раньше это было у колодца) кричал громко, явно рассчитывая на слушателей.

— Ну и что — моя баба гуляет? Значит, хорошая баба, если всем нравится.— Помнится, меня слегка удивила эта своеобразная философия мужа, у которого гуляет жена.

Этот-то крик мне запомнился от их недлительного пребывания в нашем селе. А куда их (едва ли не сибиряков по происхождению) унесло

дальше ветром нашей действительности, вернее сказать, винегретным перемешиванием нашей действительности — не знаю.

Пока была в нашем селе центральная усадьба колхоза и тянулись в село люди из окрестных исчезающих деревенек и даже вот присылали еще людей со стороны, колхоз понастроил домов для приезжих, которые он мог просто отдавать на время, как если бы квартиры, а мог, вероятно, при желании поселившейся в нем семьи — продать. Двухквартирные дома, типа финских, могли заселяться двумя семьями или несколькими одинокими людьми, тогда получалось уж вроде как общежитие.

(Забегая вперед — и поскольку это неважно для рассказываемого эпизода — скажу, что когда мы, наше село, перестали быть центром колхоза, когда нас присоединили к колхозу имени Ленина в селе Рождествине в десяти километрах от нас и мы сразу сделались окраинной, удаленной от центра «бригадой», все сразу в селе затихло, заглохло, пустуют и эти понастроенные колхозом резервные дома, пустуют и обрастают вокруг крапивой и лопухами.)

Да, вот и в этом изменилось село и не могу сказать, что к лучшему. Раньше, в годы моего детства,— как? Сразу за двором (в двор под одной крышей с домом) начинаются огород и сад. Все это небольшое (так называемый приусадебный участок), но ухоженное. Гряды так гряды, яблоня так яблоня. У разных хозяев бывало по-разному. У одних сначала гряды, а потом уж сад, у других наоборот. И вот через эти огород и сад — тропочка. Она приводит к заднему тыну. Калитка. Через нее выходишь на залог, как правило уже не огорожен-

ный, разве что пряслом. Залог — это задняя часть усадьбы, оставляемая нетронутой ни заступом, ни плугом. Там растет только трава, которая будет своевременно скошена и превращена в сено. Но вот сейчас у меня вопрос: почему трава там луговая, а не как, скажем, на улицах села, поросших мелкой травкой? На залоге высоко вырастают горец, ромашки, тмин, козлобородник, купальницы, фригийские (красные) васильки. Подсевались ли когда-нибудь эти залоги специально покосными травами или вся земля некогда была цветущим лугом? А потом уж вблизи человека и вокруг его жилья травы эти, высокие, росистые, ярко-разноцветные, вымерли, а на их месте зеленой щеточкой (зеленым плотным ковриком) разрослись спорыш да американская ромашка, без лепестков, но только с желтенькими пупышками. А совсем у дворов — крапива.

Как бы то ни было, сразу за тыном сада-огорода (огорода-сада) — залог. За залогом — картофельник. (Но могло быть и наоборот: сначала за садом картофельник, а потом уж залог. А потом сразу за обрезом усадьбы и вся остальная земля с холмами, перелесками, с лугами, но уже обширными, с оврагами, тоже кипящими разноцветьем в летнюю пору. И вот сразу от своей усадьбы человек видел ничем не загороженное, ничем не заставленное, ничем не замусоренное земное раздолье. Тропинка к речке среди зеленой травы, тропинка к кладбищу, тропинка (наискосок) к соседней деревеньке, прячущейся за сосновым перелеском. Теперь пока доберешься (ногами ли, взглядом ли) до чистого-то земного раздолья, надо миновать еще разные строения, дополнительная печаль смотреть на которые состоит в том, что они оказались

никчемными и теперь заброшены. Размахались в планах: реконструкция села, строительство центральной усадьбы. Даже план этой реконструкции висел в колхозной конторе, у председателя в кабинете. Этакие беленькие кубики среди кучерявой зелени. Я поглядел на него и ахнул. Не говорю про остатки церкви, своего собственного дома не обнаружил на генеральном плане реконструкции. Кое-чего успели построить: столовую, баню, например. Оштукатурили снаружи эти продолговатые, сараевидные здания. Но очень скоро сама по себе отпала нужда и в столовой и в бане. Некого кормить, некому мыться. Но глаза эти здания мозолят, когда выходишь из села, чтобы встретиться с этим самым земным раздольем. Длинное здание школы, левее столовой и бани, тоже пустует уж сколько лет. Ну, правда, когда привозят летом в автобусах студентов на сельскохозяйственные работы, там, в школе, ночуют студенты, обмусоривают землю вокруг бывшей школы разными целлофановыми упаковками, фольгой, бумагой, консервными банками, клочьями ваты, а то и пустыми бутылками.

Но все-таки проберемся полузажмурившись мимо всего этого и все-таки дойдем и до речки.

Помню, ребятишками в сосновый лесок по землянику. Насобирать не насобираем, а в рот попадало. Лесок все под горку да под горку, и потом кончится лесок, расступятся последние сосенки и прямо перед нами окажется речка. Хрустально-кристальная, прямо-таки родниковая водичка журчит по камешкам, прядет, перебирает ярко-зеленые нити водорослей. Но по берегам то трава, травка, таволга, а хоть бы и крапива (если где

поросли берега ольхой). И вот там, где чистые камешки, по которым журчит вода, после лесной земляники, из тех же чашек, с которыми ходили по ягоды, пили мы эту воду.

Теперь не осмелишься пригубить речной водички. Нет, фабрик и заводов не возникло на нашем, можно сказать, ручье. Но — там машина переедет через речку, там трактор, взбаламутят, опоганят светлую воду, напустят на ее поверхность сизых, зеленоватых маслянистых кругов, там, смотришь, на мели валяются в воде две автомобильные покрышки, а вода их обмывает, там прогонят через воду колхозное коровье стадо голов в семьдесят (ноги у коров по самое вымя в заскорузлом навозе), а то еще около Прокопихи на пригорке устроили свинарник. От него за две версты наносило «духами», а с бугра этого в речку и днем и ночью тоненьким ручейком струилась навозная поросячья жижа.

Но и вся эта гранулированная химия, все азотные подкормки полей (не в коня только корм), все эти гербициды и пестициды, все это смываемое летними ливнями тоже оказывается в речной воде. Нет, как хотите, а я сейчас не осмелился бы пригубить речной водички.

Искупаться — другое дело. Искупаться — куда ни шло. Правда, применительно к нашей речке надо бы говорить не искупаться, а окунуться. Ну, пусть окунуться. Все равно холодная же, утренняя вода. Было у нас два омута, где все время купались жители села. И ведь подумать только, какие были омуты — «с ручками». Это значит, если встанешь посередине, чтобы измерить глубину, «опустишься», как называлось тогда, скроешься под водой «с головой», а в иных местах «с ручками». Но оба омута

затянуло, и они заросли травой. Водяной, конечно, травой. Осокой, кувшинками, водяной гречкой, водяной сосенкой, стрелолистом, одним словом — травой. Тут уж, вероятно, ни технический прогресс, ни общее наступление Человека на природу не виноваты. Просто время идет и затягивает маленькие российские речки. Возьмите вон хоть речку Липицу около Юрьева-Польского. В свое время битву между новгородцами и суздальцами назвали по этой речке Липицкой битвой, как она и значится до сих пор в истории. А мы пошли и не только реки, ручейка крохотного не нашли на этом месте. Затянуло, исчезла речка с лица земли.

А у нас можно еще окунуться. Более того, под деревней Останихой (совсем уж распавшейся деревней — осталось одно название) будто бы ради водопоя колхозного стада наскребают бульдозером каждое лето плотину (запруду, вернее сказать) и вода поднимается на метр-полтора. Тогда можно даже и плавать. Весной размывает то, что наскоблил и наскреб бульдозер, и надо начинать все сначала. Побочные явления от подобного вторжения Человека в природу состоят в том, что ольховые деревья, вообще ольшаник, подтопляемый при подъеме воды, засох, вымер, погиб и теперь торчит сухими стволами и палками, вместо того чтобы зеленеть и затенять и без того иссякающую, пересыхающую речку.

Но вернемся к тому, что однажды летом (мы жили тогда в деревне с моей старшей сестрой) я проявил некоторую волю и взял за правило ежеутренне около семи часов ходить на речку купаться, причем босиком. Мой маршрут до реки, моя тропинка, тропинка, которую я начал торить, пролегала так, что справа оставалась пустующая,

полузаброшенная школа, обмусоренная разными склянками и банками, а слева — колхозный двухквартирный дом финского типа, в котором жили какие-то не наши, не сельские, а приезжие (то есть вот, значит, присланные к нам на поселение люди). Торенная мной тропинка проходила мимо одного из двух крылец этого дома, мимо его угла, и тут почти всегда стоял колесный трактор. Значит, в одной половине дома, именно мимо крылечка которого я проходил, жил тракторист. Иногда я видел этого тракториста (особенно если выходил на купанье раньше обычного), молодого, черноусого, пожалуй украинского типа, парня. Однако парень был женат, ибо на крылечке и около крылечка на веревке время от времени висело кое-какое белье. Рубашки тракториста, но и платьишки, юбчонки, одним словом — семейная стирка. Тракториста этого я всегда видел в полосатой тельняшке. По обратному пути с речки я уже не заставал трактора на месте, но только — черное масляное пятно на траве.

И вот, когда уж пройдя этот дом, я шел к селу, на узенькой тропочке между двумя залогами (то есть между цветущими травами) иногда стала мне попадаться навстречу молодая девушка (можно было бы сказать, если бы не полосато-усатый тракторист), ну, значит, молодая женщина, повязанная косынкой почти до глаз, тоненькая и уж очень легкая на ногу, ну прямо не идет, а летит, едва касаясь земли (касаясь ли?) ногами.

До сих пор я не знаю, как, наверное, и никто не знает в нашем селе, была ли эта тоненькая женщина формально женой тракториста или они просто, как два древесных листа, которые принесло ветром с разных сторон, в какой-то момент слип-

лись, приклеились друг к другу. Кто с них спросит в нашем селе, если вообще неизвестно, кто они такие, откуда взялись, каким образом оказались здесь, почему не жилось им каждому на своем месте, на своей родине?

У тракториста были дружки. Вечером они, должно быть, как следует напивались в неуюте временного, арендованного у колхоза жилья. Наверное, и эта тоненькая, с черными вишнями из-под косынки, тоже выпивала с ними. А потом на другой день постирушки и самая черная работа в колхозе: она, эта тоненькая, неизвестно откуда взявшаяся в нашем селе, не была даже хотя бы дояркой или телятницей, а делала что заставят: убирала навоз, перебирала картошку, а то и просто сторожила кукурузное только что засеянное поле, отпугивая грачей. Кажется, дружки навещали квартиру тракториста и в его отсутствие: надо ли им было опохмелиться или с еще какими-нибудь целями и стремлениями. Все они были приезжие (набеглые, как сказали бы раньше в старом Олепине) и не нам было разбираться в их поведении.

Однажды я разговорился о них с Глафирой, нашей соседкой, и та сказала так, что лучше уж и не скажешь:

— И не говорите, и не говорите... Навстречу попадутся — жуть. Взгляды у них у всех какие-то тюремные...

Не могу сказать, что взгляд темных глаз из-под косынки у той тоненькой, столь легкой на ногу молоденькой женщины, как бы еще совсем девочки, тоже показался бы мне «тюремным». Первый раз мы даже и не поздоровались, просто взглянули друг на друга, но при второй встрече я все же сказал ей «здравствуйте». Не помню уж, успела ли

она мне ответить или пропорхнула, ничего не успев сказать. Видимо, так совпадали часы, что она шла домой завтракать, после своих навозно-колхозных работ, а я в это же время шел с купанья. Не скажу, что каждое утро, но иногда мы встречались на тропинке между залогами и проходили мимо друг друга.

Идешь с реки по разным луговым, лесным, полевым цветам. Ну, что касается полевых, то вернее было бы сказать — мимо них, а по луговым, так — прямо по луговым.

На крутом косогоре земля посуше, трава пониже и цветы другие, не как на увлажненных местах. Именно там на суховатой земле цветут скромненькие, очаровательные гвоздички. Малиновая звездочка величиной с двухкопеечную монету, тоненький стебелек не больше десяти сантиметров — вот и весь цветочек, а сколько изящества, прелести, красоты.

Машинально сорвал я такую гвоздичку, поднимаясь по косогору, и машинально, думая о чем-то своем, нес ее в руке. Рано или поздно цветочек пришлось бы бросить на землю, а тут тропинка как раз мимо крыльца унылого, двухквартирного, какого-то полуобжитого (и без того, чтобы земля вокруг тоже была бы обжита и ухожена), среди пустых консервных банок и пустых бутылок стоящего дома. Крыльцо, мимо которого я шел с купанья, было крыльцом той девочки-женщины, которая была (или считалась) женой полосато-усатого тракториста, которая временами вывешивала стираную-перестираную одежонку и которая иногда попадалась мне навстречу, словно летя на крыльях на тропинке между высокотравными и цветущими залогами.

Чем бросить на землю мою гвоздичку, я по безотчетному внутреннему толчку взял и положил ее на крыльцо, на грязноватые доски. Не охапка же цветов! Никто и не заметит крохотную гвоздичку, тем более что она привянет через час-другой и превратится просто так в травинку, в мусоринку. Но мне почему-то показалось, что, возможно, ее заметят.

На другой день, проходя мимо того же крыльца, я не обнаружил на ней гвоздички, хотя бы и увядшей. Внимательно оглядев землю около крыльца, едва-едва я разглядел там цветочек среди мусора. Его, подметая крыльцо, просто смахнули веником. И в самом деле — тоненькая, высохшая травинка. (Сенинка — можно было бы сказать, но тотчас возмутятся и запротестуют тяжелые ожеговские словари, утверждая, что нет такого литературного слова.)

Но тут, во-первых, в меня вселился дух упрямства. Ну, нет! Рано или поздно цветочек должны заметить. Во-вторых, всегда во все мои годы, во всех, как говорится, жизненных ситуациях, при всех отношениях с людьми я люблю, чтобы был элемент игры. В жизни должна быть игра. Пусть маленькая, невинная, но все-таки искорка, пузырек в «Боржоме» или «Нарзане» (или пиве), солнечный зайчик, игра.

Ну, скажем, рассказал я Мише Кильчичакову (живущему в Абакане) про старого китайца, которого я увидел в Казахстане. Он сидит и торгует рыбкой, которую ему, вероятно, наловили мальчишки в арыке. А может быть, и сам наловил. Рыбка разложена маленькими кучками.

— Почем же рыбка? — спрашиваю у китайца.

Глядя на меня старческими (еще дореволюцион-

ный китаец), слезящимися, умиленными глазками, он, не менее умиленным голосом, отвечает:

— Севели́, севели́ — пять рублей (пятьдесят копеек по-теперешнему), не севели, не севели — три рубля.

То есть, значит, та, что живая и шевелится,— пять рублей, а та, что уж не шевелится,— три рубля.

Ну, посмеялись, когда я рассказал про китайца Мише Кильчичакову. Теперь, если Миша звонит из Абакана и услышит, что трубку взял я, он не говорит уж ни «здравствуй», ни «алло», ни «привет». Ничего такого не говорит, а сразу: «Севели-севели?» Получилось вроде пароля.

И в-третьих, еще. Не могу сказать, что осознанно, но каким-то углышком, краешком души, возможно, я самонадеянно знал, что, ну, пусть будет у нее, среди пустых консервных банок и пустых бутылок, среди пьяных и матерных трактористов (да еще по определению Глафиры — с тюремными взглядами), среди жалких стираных-перестираных постирушек, среди навозной жижи колхозного коровника и женских уже выпивок там уж в компании доярок да навозниц, ну пусть будет у нее в жизни один этот крохотный цветочек, эта яркая лиловая звездочка, величиной с гривенник. За что? Да ни за что. Хотя бы за легкость, за летучесть походки да за мимолетный взгляд из-под надвинутой почти на глаза косынки. Ни за что. Просто так. Утренний, ежеутренний луговой цветочек на замурзанных грязных досках полубесхозного, временного для этих жильцов крыльца.

Короче говоря, как нетрудно уж теперь догадаться, я, возвращаясь с купанья и проходя мимо крыльца, стал каждое утро класть на него ма-

ленькую луговую гвоздичку. Гвоздички с крыльца исчезали. Сметали их просто веником, не разглядев (кругом ведь тоже все трава, да трава, это не то что положить бы гвоздичку, ну, скажем, на полированную гладь рояля), или не сметали веником, но брали в руки, я не знаю, не видел. Но я видел зато, что при встрече и при мгновенном нашем расхождении на узенькой дорожке между залогами во взгляде быстроидущей, как бы летящей, не касаясь земли, легкой тоненькой девочки-женщины накапливался раз от разу немой вопрос.

Она, должно быть, поняла, что сами собой гвоздички на крыльцо попасть не могли, даже если и сельские детишки, бегающие на речку, положили бы случайно цветочек, то ведь положили бы один раз, случайно, или разные цветочки. Но чтобы один и тот же и каждое утро... Нет, она поняла, что это не само собой. А если так, то кто? Трактористы, сельские механизаторы? Пусть хоть и до выпивки, в тверезом состоянии? Исключалось заранее. И вот во взгляде ее все больше накапливался немой вопрос. Этот немой вопрос, сначала выражавший именно только вопрос, и ничего больше («это вы кладете цветочки?»), постепенно усложнялся и усложнялся в ее взгляде, проходя через различные стадии, вплоть до недоумения. «Если это вы, то зачем?», «Если это вы, то почему же молчите, не заговариваете?», «Если это вы, то почему же нет никакого продолжения?», «Если это вы, то почему же?..»

Признаюсь, что, начиная эту маленькую, в общем-то невинную игру, я меньше всего думал о каком-либо продолжении. Но во встречных взглядах вопрос и недоумение ушли в прошлое, во взглядах засветились и заметались черным огнем

призыв, мольба и, возможно, боль. И снова — недоумение. Но нет, нет и нет. Адюльтер в нашем селе? Треугольник с усато-полосатым трактористом? Да у нас и мизинцем-то пошевелить нельзя, без того чтобы даже все куры на другой день не узнали: такой-то пошевелил мизинцем. И будут куры (ко-ко-ко) оживленно рассказывать друг дружке, передавать дальше: «Вы только послушайте — ко-ко-ко!»

Конечно, операцию разработать было можно. Перекинуться несколькими конструктивными фразами (на тропинке между залогами). Все время от времени ездят за чем-нибудь в город, за какими-нибудь покупками. И вот я тоже поехал на машине, а через два километра догоняю ее. Гостиница в городе, номер «люкс», горячая вода (после коровника как-никак), обед в ресторане... Но нет, нет и нет. А тут и лето пошло под уклон, задождило, засентябрило раньше времени и мы все — я и две мои сестры — укатили в Москву. До следующей весны... Но мы предполагаем, а бог располагает. Получилось так, что одно лето мы пропустили, в деревню не ездили, а потом поехали уж через весну.

Возвратившись в село (а тем более пропустив год), узнаем разные новости. Бывает, что ничего особенного не произойдет за долгую зиму (за две зимы в нашем случае), а бывает — произойдет. Умрет, уберется кто-нибудь из стариков. Вон Мишка Пуговицын (имена изменяем из этических соображений, хотя это — пустое дело, посторонним читателям — все равно какие имена, все равно они никого в нашем селе не знают, а в нашем селе все равно сразу узнают, о ком идет речь, но все же, все же...) опять попал в тюрьму. Ночью пришел к избушке пожилой уж женщины, чтобы не ска-

зать — очень пожилой, разбил окно, залез в избу, женщину избил. То ли была попытка изнасилования, то ли денег требовал на опохмелку, то ли вина требовал натурой, то ли безотчетная дурь нашла с постоянного угрюмого перепою. Снова сидит в тюрьме. Первый раз сидел за то, что в пьяном виде на тракторе своротил угол чужого дома.

С матерью Мишки я разговаривал.

— Ну и что же,— говорит она.— Здесь надо работать и там он работает. Те же деньги зарабатывает. Не все ли равно, одно знаем, что там он хоть не пьет, хоть бельмы свои винищем не заливает.

Ритмы жизни меняются. Раньше, если, как говорится, в радиусе 10—15 километров (а в таком круге помещались многие десятки деревень и сел) густо было народу в средней, нечерноземной полосе, хоть один человек оказался в тюрьме, так на целый год разговору. Чрезвычайное происшествие. Как же! Ванька Маркелов-то из Венков — в остроге сидит. Детей пугали. «Вот погоди, выйдет Ванька из острога, в мешок тебя...» Теперь — проще. В одном и том же колхозе обязательно кто-нибудь сидит в тюрьме, один выходит, другой садится. Как-то уж и внимания никто не обращает. Ну, сидит и сидит. Дело большое!

А уж если кто-нибудь в том же радиусе руки, бывало, на себя наложил, так это уж сверхчрезвычайное происшествие. О нем лет десять-пятнадцать будут вспоминать по бесчисленным (тогда тихим, сугробами занесенным) деревенькам. Так и называлось это — не повеситься, не зарезаться бритвой, но «наложить на себя руки».

А теперь приехали мы в село после зимы и, пожалуйста,— трое повесившихся. Ну, правда,

один, хоть и наш, сельский, вернее сказать, выходец из нашего села повесился в городе. Весть об этом дошла глухая, смутная. Молодой мужик, только что из парней, здоровый, рослый, красивый. Внезапно умер. Похоронили. И только потом уж пополз слушок, что не просто умер, не сам по себе. Вроде бы и не пьяница. Какие-то семейные дела, жена загуляла. И готово дело — нет человека.

Второй случай известен в подробностях. Тут, пожалуй, подлинное имя я назову. Ему все равно теперь, но хоть на странице может память останется. Звали его Виталий, Виталька. Был он парень, но уже перестарок. Есть такое понятие — блаженный, так вот Виталька был самую малость блаженный. То есть — теленок. Доброта, услужливость, безотказность, неприспособленность — на первом месте. Обычно тут и внешность примешивается, какой-нибудь внешний, физический дефект. У Витальки в детстве была «заячья губа». Потом что-то подлатали, подправили доктора, но что-то все-таки и осталось.

Бывало, сидим около дома под березой, прохлаждаемся. Если Виталька мимо идет, обязательно остановится, просто так, поговорить, да еще спросит: не надо ли чего, дров поколоть, например. И совсем не пил. Жил он в избе один. Родители умерли, брат повиднее его — где-то на стороне, сестренка замуж вышла. А он, как было сказано, уже перестарок. При его внешности и характере вообще женщина, как таковая, была для него, очевидно, нерешенной и неразрешимой проблемой.

И вот из соседнего села какая-то бабенка взялась за Витальку. Неизвестно, что ею руководило. То ли на сберкнижке у Витальки немного денег лежало, то ли решила подшутить. «Увольняйся с

работы в своем колхозе, переходи ко мне жить». Виталька уж и деньги ей отдал «на веденье общего хозяйства». Дня два-три ушло у него на увольненье. И пришел он к ней. И можно вообразить, если к тому же впервые его женщина обогрела, с какими чувствами он к ней шел. Ну, а там его просто высмеяли: «Да ты что? Дурачок. Идиотик. Кому ты здесь нужен? Погляди лучше в зеркало на себя».

Вернулся Виталька в свою пустую избу, привязал веревку к железному крюку...

А то, еще в позапрошлом году, перед самым нашим отъездом в Москву, сидел я под той же березой. Вижу, со стороны дороги идет ко мне человек. Решительно идет, с целью.

— Ты что, не узнаешь меня?

А я, между прочим, пока он еще шел, вспомнил, узнал, сквозь маску теперешнего его лица, испитую, изможденную, всю в каких-то мелких морщинках маску, проглянуло лицо соседского мальчишки Кольки. Он был моложе меня лет на пять. У них, у его родителей вернее, сначала одни девчонки шли. Семь девчонок одна за другой. Но Иван Михайлович с тетей Марьей были упорные люди и дождались-таки парня. Восьмым ребенком родился вот этот Колька, теперь уж Николай, а хоть бы и Николай Иваныч.

Вся эта семья давно распалась. На месте их дома стоит другой уж дом и живут другие люди. Старики умерли, девчонки повыходили замуж и живут в разных городах.

Про Кольку доходили слухи, что работает шофером и очень уж сильно пьет.

В отличие от предыдущего Витальки он рос красавчиком. Тонкое, продолговатое, тонко-

губое лицо, светлые волосы, голубые глаза. Да к тому же война повыбила всех парней, а он по возрасту не угодил в это пекло и остался в первые послевоенные годы единственным парнем на всю округу. Прямо по частушке: «Три деревни, два села, восемь девок, один я». Девок-то было больше, нежели восемь.

Погулял Колька. Переженился раза три-четыре, выбирая самых красивых девчонок, потом осел где-то в городе, обзавелся новой семьей, пошли дети. Но доходили слухи, что очень уж сильно пьет.

И вот теперь этот Колька, Николай, подошел ко мне с вопросом: «Ты что, не узнаешь меня?» И очень обрадовался, что я его сразу узнал. Я принес ему еще один стул, мы сидели под березой и вспоминали. Он рассказал мне про всех семерых сестер, кто, где, как живет. Вспомнили мы Ивана Михайловича, тетю Машу. И какая красивая ограда была вокруг церкви, и как рыбу ловили бредешком, и как метали клеверные стога, и как пекли картошку в углях костра, и как завтраки носили косцам ранним утром. И уж повеяло на нас холодком росы, запахами только что скошенной травы, тишиной тех времен, когда громче гармони не было никакого звука в деревне. Хорошо, от души повспоминали. Часа два просидел около меня Николай.

— Ну, пойдем,— наконец, спохватился я,— пойдем в дом. Вспомним по-настоящему.

— Нет,— категорически отрезал Николай.— Мне еще многие места обойти нужно. Я и приехал только затем, чтобы все места обойти. На кладбище я уж был, по речке прошел. С тобой, вот, удачно, повидался. Теперь пойду туда, где была наша усадьба, где наш дом стоял. Еще кое-какие места...

И он ушел.

А теперь весной, возвратившись в село, первое, что услышали мы: Колька повесился. По сопоставлению дат получалось, что он повесился через четыре дня после нашего сидения под березой. То есть, значит, он приезжал из города попрощаться с родными местами. И было ему немногим за пятьдесят.

Ну и по другой линии ждали нас тоже — новости. Оказывается, той, еще позапрошлой, осенью, усато-полосатого тракториста, мужа, так сказать, героини нашего очерка, колхоз послал с еще одним напарником в Омскую область за соломой. Это ведь тоже надо вообразить: из владимирской деревни в Сибирь — за соломой. Они должны были ее там купить, организовать погрузку в вагоны и вагоны те отправить до станции Ундол. Ну, а здесь уж — на грузовиках всего лишь тридцать километров. Но если бы, по представлению прежних мужиков, даже и за тридцать километров солому возить, показалось бы им смешно. Не знаю, насколько успешно закончилась операция с соломой в Омской области, но усато-полосатый муж в наш колхоз к героине нашего очерка не вернулся. Нашел ли он себе сибирячку, подался ли в другие какие-нибудь края, остается неясным. Теперь ведь люди, по меткому выражению еще Сергея Есенина, «...как отрубь в решете». Кидает их из края в край решета, крутит, вертит, трясет, перетряхивает, перемешивает, мельтешат они, мечутся и нигде ни за что не могут зацепиться, чтобы остановиться и пустить корешки, укорениться на одном месте. Пооборваны все корешки, а главное, внутри каждого человека нет того порога, той черты, той точки опоры, о которую он мог бы внутренне опереться и

сказать себе — баста. Тут моя жизнь, тут моя доля, тут — я.

Событие это не такое уж из ряда вон, особенно в сравнении с тем, которое последовало за ним. Муж бросил жену — эко дело. Это теперь-то, когда в стране на 1000 браков 500 разводов[1].

Любашка, значит, осталась одна. Ту тоненькую женщину звали Люба, но наши деревенские бабы не называли ее иначе как Любашка. Дружки тракториста с «тюремными взглядами» тоже все как-то исчезли, тоже как отрубь в решете раскидало их куда-то по разным краям решета. Из всех перебывавших в нашем селе «присланных» (а их перебывало немало) только две отрубинки не унесло дальше трясением решета. Один мужчина (уже упоминаемый мной), прилепившийся к пожилой вдове, да вот еще эта бедолажка, бездомница, безхозяйственница, тоненькая одинокая былинка на холодном ветру.

Теперь пора ввести в наш очерк еще одно действующее лицо.

В своей опустевшей избе доживал свой век одинокий наш сельский житель, которого все называли только по его отчеству — Федорыч. Оставляю это его отчество подлинным, потому что теперь его уже нет в живых, он скончался в прошлом году. Это была та очередная новость, которая встретила нас в очередной приезд в село, очередной весной, а именно — весной 1985 года.

Я употребил жестокое словечко «доживал» вовсе не потому, что Федорычу перевалило за семьдесят (живут наши старики и до восьмидесяти пя-

---

[1] Для сравнения: в Японии — 1,5, в Англии — 3, в США — 6 разводов на 1000 браков. Впрочем, данные точно не проверены.

ти), но еще потому, что у него были больные почки, и уже была одна операция и назревала вторая, и спорыш, который я ему усердно рекомендовал (благо, все наше село заросло спорышем), уже не помогал. Впрочем, Федорыч и никогда на свою болезнь не жаловался, просто все знали, что дела с этими почками плохи.

Есть и еще одна причина, почему возникло из-под пера словечко «доживал». Несколько лет тому назад он внезапно и трагически овдовел, а сыновья (два уже взрослых, если не сказать пожилых, сына) живут своими семьями в городе, так что в своей некогда шумной и оживленной избе Федорыч теперь, вот именно — доживал.

Был он человеком еще старой крестьянской закваски, хозяйственный, домовитый, рачительный. Вопреки его подкачавшему здоровью и внешнему виду (небольшого роста, сухощавый), можно было бы про него сказать — крепенький мужичок. Последний из могикан, последний из россиян, по крайней мере в нашем селе.

Несмотря на одиночество, свою избу, свой двор, огород, сад, залог, картофельник, вообще все свое хозяйство он поддерживал в порядке. И в этом сказывалась больше только его врожденная хозяйственность, нежели необходимость. Сами посудите: один. Идет ему пенсия. Ну и сыновья помогли бы. Можно бы пропитаться и через сельпо или покупая молоко, яйца и картошку у других сельчан: много ли одному надо. Но, конечно, не мог допустить Федорыч ни совсем пустого двора (без куренок, без поросенка), ни заросших бурьяном огорода и сада, некошеного залога, ни заброшенного картофельника позади, в дальнем конце всей усадьбы, да и что бы он делал, если

бы не хлопотал по хозяйству? Умирал бы от безделья и от тоски.

Так вот, задняя граница его усадьбы почти доходила до того двухквартирного, полуобжитого, посреди сорных трав, пустых консервных банок и пустых бутылок стоящего дома, из которого «слинял» полосато-усатый тракторист, но в котором продолжала жить, брошенная трактористом, легкая на ногу тоненькая девочка-женщина.

Как уж там получилось — никто не знает. Наверное, слово за слово. Может быть, попросил сначала ее Федорыч помочь в чем-нибудь по хозяйству, по дому. Наверное могу сказать, что полевых гвоздичек он на крыльцо ей не клал, а в первый же раз, как оказалась она по какому-либо поводу у него в избе, поставил на стол бутылку. Почки почками, но бутылкой Федорыч не пренебрегал никогда, до самой смерти, хотя и пьяницей, как некоторые представители более молодых поколений в нашем же селе, не был. Никто бы не сказал, что Федорыч пьяница.

Так или иначе, но вот Любашка прибилась к Федорычу, к его избе, к его хозяйству. Обычно в таких случаях любят сравнивать возраст, хотя я (может быть, потому, что мне и самому — за шестьдесят) всегда утверждал, что если встретились мужчина и женщина, возраст почти не имеет значения, но если нужно, то Федорычу было, я думаю, семьдесят четыре, а ей... трудно сказать при ее тоненькой и как бы невесомой фигурке... ну что-нибудь, лет двадцать пять. Колхозную квартиру она не бросила, но в открытую жила у Федорыча, копалась в огороде, стирала, ночевала, а Федорыч время от времени наведывался в сельский наш магазин, вооружаясь двумя-тремя бутылками «красного»

или «белого». Белым у нас называют водку, а красным все остальное, все эти поддельные, фальсифицированные портвейны, вермуты, херéсы (так у нас произносят), «Солнцедары», все то, что называется одним словом: бормотуха, гнилуха либо чернила.

Сыновья Федорыча сильно обижались на отца за то, что в доме появилась эта женщина, будто бы даже ставили ультиматум: не будем приезжать навещать, пока она здесь, у тебя. Но Федорыч проявил твердость.

— Вы приезжаете на 3—5 дней в году, а мне жить остальные триста. Как хочу, так и живу.

Любашка, говорят, хоть и прибилась к Федорычу, однако с нарезки уже сошла, гуляла напропалую, пила с доярками, телятницами, такими же навозницами, как и сама. То говорили в связи с ней о каком-то пастухе, то о трактористе в соседнем селе за четыре километра. Одним словом, сообщество у нее с Федорычем было относительное, а не то чтобы нечто вроде семьи. Она была, по-видимому, что называется, «кошка, ходящая сама по себе». Захотела — пришла к Федорычу, захотела — не пришла. Хотя, правду надо сказать, и Федорыч ведь не узаконивал отношений с ней, что сделало бы ее в конце концов полноправной хозяйкой избы и усадьбы. Нет, он тоже держал ее в роли приходящей домохозяйки. Ну и она платила ему той же монетой, хотя большую часть времени проводила у Федорыча.

Самое занятное, что Федорыч ее ревновал и рассказал мне об этом один случай.

Я часто, часов около пополудни, ходил в соседнюю деревеньку Останиху, где пожилой москвич Виктор Иванович купил себе домик, вроде да-

чи. Я ходил к нему играть в шахматы. И вот сидим мы с ним доигрываем третью партию, вдруг откуда ни возьмись — Федорыч. И немножечко не в своей тарелке, то ли смущен, то ли взволнован. Посидел около нас несколько минут и ушел. «Зачем его в Останиху-то принесло? — подумалось мне.— Никакого ведь дела нет. Можно понять, если человек по грибы пошел или с удочкой...» И вдруг меня озарило. Да ведь он хотел убедиться, что я действительно играю в шахматы с Виктором Ивановичем, а не в лесу где-нибудь с его Любашкой?

Но почему он подумал? Что за нелепица? Что за чепуха? Мне бы и в голову не могло прийти. Остается предположить одно. Когда-нибудь Любашка проговорилась ему про полевые гвоздички трехлетней давности.

Своя весна, свои новости. В очередную весну, приехав в село, мы узнали, что у Любашки родился ребеночек. Почему я говорю «у Любашки, а не у Федорыча»? Потому, во-первых, что их довольно странный симбиоз (да простят мне наши сельские жители это словечко) оставался неузаконенным, а во-вторых, все говорили в селе, что ребеночек не от Федорыча, а от какого-то парня, возможно, от тракториста из того села, что от нас в четырех километрах. Назвали мальчика Сережа, Сергунчик.

Любашка не хотела менять образ жизни. Она по-прежнему выпивала с товарками на ферме, по-прежнему гуляла с пастухом и механизаторами, точно так же, как не изменила своей легкой, летящей походки. Ребеночек был полузаброшен. К чести Федорыча нужно сказать, что он принял в ребеночке самое трогательное участие: пеленал, распеленывал, подмывал, ухаживал, кормил из соски. Это внимание Федорыча было настолько

удивительным и трогательным, что многие в селе начали верить, что ребеночек все же — от него.

Но тут судьба нанесла еще один удар. Каменнопочечная болезнь доела Федорыча и он скончался. Своя весна — свои новости.

Любашка со своим Сергунчиком продолжала жить в Федорычевой избе. Соседки и соседи уже привыкли к ней и когда перед вечером собирались и усаживались на лавочке перед Глафириным домом, то и Любашка сиживала там с ними тоже. Чаще всего с Сергунчиком на руках. Ко всему привыкают люди. Любашка продолжала и выпивать, и принимать мужиков у себя, и сама бегала за четыре километра (не к отцу ли Сергунчика?), и вот наши сельские женщины, бабы, как сказали бы раньше, видели все это и смотрели на все это сквозь пальцы. Сидят на одной лавочке тараторят, как ни в чем не бывало. А ведь еще в моем детстве запомнилось мне имя Машечка из отдаленной деревни. Гулящей оказалась девка и моментально прогремела на всю округу. Матери говорили своим дочерям: «Смотри, ославишь себя, как Машечка», «Ты что хочешь, как Машечка?» За многие версты катилась молва о гулящей девке. А тут под носом... Но и то надо сказать: не одна же она гуляет. На другом краю села молодая девка троих уже родила, и никто не знает, от одного отца или от разных. Научно-техническая, джазово-музыкальная, культурно-сексуальная революция.

Потом та же Глафира, перед домом которой сидели обычно бабы на лавочке (непосредственная соседка Федорыча), стала замечать, что Сергунчик редко появляется на улице, на зеленой травке. А ему ведь уж к трем годикам, ходит и бегает. Дивились бабы: какой спокойный мальчишка, спит

целыми днями. Любашка за четыре километра успеет сбегать и возвратиться, а на это со всеми делами надо не целый ли день. Или дивились и тому, что когда пастух, скажем (всегда выпивший и небритый, словно каторжанин в бегах), к Любашке в избу придет, куда же они Сергунчика в это время девают! Ему хоть и три года, но все же при нем-то — ладно ли? Наглядится, запомнит.

И вот однажды, когда Любашка ушла куда-то своей летящей походкой, Сергунчик сам вышел из избы и гуляет себе на травке. Глафира пригляделась к нему, что-то странное показалось ей в поведении мальчика. Встанет и падает на одну сторону, встанет снова, падает на другую сторону Глафира подошла к нему:

— Ты что, маленький, не заболел ли? Вот давай, становись на ножки. Тебе уж три года, давай, становись, побегай. А Сергунчик опять — хлоп, на ногах не стоит. Глафира пригляделась еще попристальней, и сердце у нее захолонуло: да он же пьяненький, оттого и на ногах не стоит. Как молнией озарились в мозгу Глафиры все предыдущие дни. И в самом деле, чего же проще. Надо от Сергунчика освободиться на три-четыре часа — полчашки вина ему, красного, сладковатого, ну он и готов. Много ли ему надо? Спит себе целыми днями. А проспится и проснется раньше времени — ему еще полчашки. Ужас обуял всех жителей села, когда молва о Сергунчике прокатилась из конца в конец.

Позвонили в милицию. Приехала специализированная медицинская машина. И Любашку и Сергунчика увезли. Стали доходить слухи: Любашку оставляют на сорок пять дней для принудительного леченья и, вероятно, лишат права материнства, отберут мальчика в дом ребенка.

Заросший седой щетиной, с изможденным испитым лицом, пастух ходил по селу и кричал:

— Сегодня же поеду выручать Любашку. Я им покажу... Я им покажу... Мы законы хорошо знаем. Судились, сидели... Не первый год замужем... Я сегодня же... Я ее на поруки... Без Любашки не вернусь...

Перед поездкой, для храбрости, наверное, выручатель и спасатель Любашки высосал из горлышка бутылку бормотухи и свалился в канаву возле дороги, в крапиву и лопухи. Этим и закончился его благородный порыв.

Через несколько дней мы уехали в Москву и чем кончилось дело, пока не знаю. Но скоро уж опять ехать в село. Все узнаем. Своя весна — свои новости.

Содержание

Владимир Алексеевич Солоухин

ЛУГОВАЯ ГВОЗДИЧКА

Редактор О. А. Рябова
Художник Г. И. Метченко
Художественный редактор М. В. Таирова
Технический редактор В. Д. Коннова
Корректор Л. М. Логунова

ИБ № 5833

Сдано в набор 06.12.88. Подписано в печать 17.04.89. А05075. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,20. Усл. кр.-отт. 5,36. Уч.-изд. л. 5,03. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1397. Цена 35 к. Изд. инд. ХД—267.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

35 к.

**ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1988 ГОДА
В БИБЛИОТЕКЕ «ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ»
ВЫШЛИ КНИГИ:**

А. АРЦЫБАШЕВ
КРЕСТЬЯНСКИЙ КОРЕНЬ

И. ГАМАЮНОВ
КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

И. ПОТЕХИНА
СОЛОВКИ

Б. СОПЕЛЬНЯК
БАГРОВАЯ ЗЕМЛЯ

Ю. ШИШЕНКОВ
ХОЧУ СМЫСЛА

Над книгами библиотеки «Писатель и время» работают писатели: В. Амлинский, В. Астафьев, И. Васильев, Т. Гайдар, Ю. Галкин, Г. Лисичкин, Д. Лиханов, Б. Можаев, А. Нежный, В. Распутин, В. Ситников, В. Солоухин, Л. Уварова.